

ЖОРЖ САНД

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОВЕСТИ



"academia"

В повести «Чертово болото» автор воспекает те высокие человеческие качества, которые сельские жители сохраняют в суровых условиях жизни.

- [Жорж Санд](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Жорж Санд

ЧОРТОВО БОЛОТО

*Работая в поте лица,
Ты создаешь на скудную жизнь
После длительных дней труда
Вот и смерть призывает тебя.*



Это старо-французское четверостишие, помещенное под произведением Гольбейна, глубоко печально в своей простодушии. Гравюра изображает пахаря, он среди поля идет за своею сохой. В широкой дали виднеются бедные хижины; за холмом заходит солнце. Это конец тяжелого трудового дня. Крестьянин стар, приземист, весь в лохмотьях. Четыре лошади, которых он погоняет, худы и изнурены; сошник углубляется в неровную, непокорную почву. Только одно существо бодро и весело во всей этой сцене *пота и изнурительной работы*. Это фантастическое существо, скелет, вооруженный кнутом, он бежит по борозде, рядом с перепуганными лошадьми, и ударяет их, служа, таким образом, погонщиком при сохе старого пахаря. Это смерть, видение, которое включил Гольбейн, как аллегорию, в целый ряд философских и религиозных сюжетов, одновременно мрачных и шуточных, озаглавленных им — *Призраки смерти*.

В этой серии или, вернее, в этой одной обширной композиции, где смерть играет свою роль на каждой странице и является звеном и господствующей мыслью, Гольбейн показал нам монархов, священников, любовников, игроков, пьяниц, монашек, куртизанок, разбойников, бедняков, воинов, монахов, евреев, путешественников, весь мир, современный ему и нам; и всюду призрак смерти издевается, угрожает и торжествует. На одной лишь картине смерть отсутствует. Это там, где бедный Лазарь, лежа в навозе, у двери богатого, провозглашает, что он не боится ее, верно потому, что ему нечего терять, и сама его жизнь является преждевременной смертью.

Эта стоическая мысль полуязыческого христианства Возрождения, приносит ли она утешение, и что дает она верующим душам? Властолюбец, плут, тиран, развратник, — все эти великолепные грешники, злоупотребляющие жизнью, которых смерть держит за волосы, будут без сомнения наказаны; но слепой, нищий, сумасшедший, бедный крестьянин, — будут

ли они вознаграждены за свою долгую нищету одним лишь размышлением, что смерть не является злом для них. Нет! Непримируемая печаль, ужасающий рок тяготят над произведением художника. Это похоже на горькое проклятие, брошенное на судьбы человечества. Действительно, это — горестная сатира, вернее, изображение того общества, которое Гольбейн имел перед глазами. Преступление и несчастье — вот что его поражало; но мы, художники другого века, что изобразили бы мы? Будем ли мы искать в мысли о смерти награду для современного человечества? Будем ли мы призывать ее как наказание за несправедливость и вознаграждение за страдание?

Нет, мы имеем теперь дело не со смертью, а с жизнью, мы больше не верим ни в уничтожающую могилу, ни в спасение, купленное насильственным отречением; мы хотим, чтобы жизнь была хороша, потому что хотим, чтобы она была плодотворной. Лазарь должен покинуть свой навоз, чтобы бедняк больше не радовался смерти богатого. Нужно, чтобы все были счастливы, чтобы счастье некоторых не было преступлением и божьим проклятием. Нужно, чтобы пахарь, сея свою рожь, знал, что он творит дело жизни, и не радовался бы смерти, идущей с ним рядом. Нужно, наконец, чтобы смерть не была ни наказанием за благополучие, ни утешением в отчаянии. Бог не предназначил ее ни для наказания, ни для вознаграждения за жизнь; он благословил жизнь, и могила не должна быть прибежищем, куда разрешено посылать тех, кого не хотят сделать счастливыми.

Некоторые художники нашего времени, вглядываясь в то, что их окружает, устремляются описывать горести, уничтожения нищеты, ложе Лазаря. Это все может относиться к области искусства и философии; но, рисуя нищету такой безобразной, такой униженной, а иногда порочной и преступной, достигают ли они цели, благотворно ли впечатление от их произведений, как они этого хотели бы? Мы не можем это окончательно решить. Можно только сказать, что, указывая на пропасть, вырытую под хрупкой почвой изобилия, они пугают дурного богача, как во времена *пляски смерти*, показывая ему раскрытую его могилу и смерть, готовую охватить его своими отвратительными объятиями. В настоящее время ему показывают бандита, открывающего отмычкой его дверь, и убийцу, подстерегающего его сон. Мы должны признаться, что не понимаем, как можно его примирить с той частью человечества, которую он презирает, как можно сделать его чувствительным к горестям бедняка, которого он страшится, показывая ему этого бедняка под видом сбежавшего каторжника или ночного грабителя... Ужасная смерть, скрежещущая зубами и играющая на скрипке на картинах Гольбейна и его предшественников, не могла, в таком своем образе, ни обратить нечестивцев, ни утешить их жертвы. Разве наша литература не уподобляется немного в этом отношении художникам средних веков и эпохи Возрождения?

Пьяницы Гольбейна наполняют свои кубки с некоторым исступлением: они хотят избавиться от мысли о смерти, которая, невидимо для них, служит им виночерпием. Теперешние дурные богачи требуют укреплений и пушек, чтобы избавиться от мысли о Жакерии, которую искусство показывает им отдельными кусочками, работающей в тени, в ожидании того момента, когда можно будет обрушиться на социальный строй. Церковь средних веков отвечала на террор сильных мира сего продажей им индульгенций. Теперешнее правительство успокаивает тревогу богачей, заставляя их платить за большое количество жандармов и тюремщиков, штыков и тюрем.

Альберт Дюрер, Микель Анджело, Гольбейн, Калло, Гойя дали сильные сатиры на болезни их века и их стран. Это — бессмертные произведения, исторические страницы неоспоримого достоинства; мы не отрицаем у художников права прощупывать общественные раны и обнажать их перед нашими глазами, но не нужно ли теперь делать что-

то еще и другое, помимо изображения ужаса и угроз? В этой литературе о тайнах несправедливости, — литературе, сделавшейся модной благодаря воображению, — мы больше любим фигуры нежные и приятные, мы предпочитаем их злодеям с их драматическими эффектами. Первые могут повлиять и воздействовать, тогда как вторые пугают, а страх не может исцелить от эгоизма, он только его увеличивает. Мы думаем, что миссия искусства есть миссия чувства и любви, что теперешний роман должен был бы заменить притчу и нравоучительную басню наивных времен, и что у художника есть задача более широкая и поэтическая, чем выдвигать кое-какие меры предосторожности и примирения для смягчения ужаса, возбуждаемого его изображениями. Его цель должна была бы быть в том, чтобы заставить полюбить предметы, входящие в круг его внимания, и, в случае надобности, я не упрекнула бы его, если бы он и приукрасил их немного. Искусство не есть изучение позитивной действительности; это есть искание идеальной правды, и *Вексфильдский священник* являлся книгою более полезной и даже здоровой для души, чем *Развращенный крестьянин* или *Опасные связи*.

Простите меня, читатель, за эти размышления и примите их вместо предисловии. Их не будет в той маленькой истории, которую я вам расскажу, и она будет столь кратка и проста, что мне нужно было извиниться в этом заранее, сказав вам то, что я думаю обо всех этих страшных рассказах. Таким образом, размышления по поводу одного землепашца втянули меня в это отступление. И именно историю о землепашце имела я намерение вам рассказать, и расскажу вам ее сейчас.

II ПАХОТА

Я только что долго и с глубокой печалью смотрела на землепашца Гольбейна и гуляла в деревне, раздумывая о жизни полей и об участи земледельца. Без сомнения, очень прискорбно тратить свои силы и свое время на то, чтобы рассекать грудь этой ревнивой земли, которая заставляет силою вырывать у нее рассыпанные сокровища ее плодородия, когда один лишь кусок хлеба, самого черного и самого грубого, является единственным вознаграждением и единственной оплатой этого тяжелого труда. Эти богатства, покрывающие землю, эти хлеба, эти плоды, этот спесивый скот, откармливающийся в высокой траве, являются собственностью немногих, создавая рабство и вызывая изнурение у большинства. Человек праздный, ради них самих, не любит ни зрелища природы, ни лугов, ни полей, ни превосходных животных, которые должны превратиться для него в золотые монеты. Человек праздный приезжает лишь для того, чтобы получить немного воздуха и здоровья во время своего пребывания в деревне, затем он уезжает опять в большие города тратить плоды работы своих вассалов.

Со своей стороны человек труда чересчур удручен, чересчур несчастен и чересчур боится будущего, чтобы наслаждаться красотой деревни и прелестью сельской жизни. Эти позлащенные поля, прекрасные луга, превосходные животные представляются ему только мешками с экю, из которых он получит лишь ничтожную долю, недостаточную для его потребностей. Однако же каждый год нужно наполнять эти проклятые мешки, чтобы удовлетворить хозяина и заплатить за право жить скупой и нищенски на его земле. Между тем природа вечно юна, прекрасна и щедра. Она изливает поэзию и красоту на все существа, на все растения, которым дают в ней развиваться на свободе. Она обладает тайною счастья, которую никто не сумел бы похитить у нее; самым счастливым из людей был бы тот, кто, умея работать, работая своими руками и черпая благосостояние и свободу в упражнении своих умственных сил, имел бы время жить сердцем и разумом, понимал бы свое творение и любил бы творение божье. Художник имеет такого рода наслаждение в созерцании и воспроизведении красоты природы; но, видя страдание людей, населяющих этот земной рай, художник, с сердцем прямым и человеческим, бывает смущен в своей радости. Счастье было бы там, где разум, сердце и руки работали бы в согласии под оком провидения, святая! гармония существовала бы между щедростью бога и восхищением человеческой души. И тогда бы, вместо жалкой и ужасной смерти, идущей по борозде с кнутом в руках, художник, создающий аллегории, мог бы поместить лучезарного ангела, сеющего полными пригоршнями благословенное зерно в дымящуюся борозду.

И мечту о приятном, свободном, поэтическом, трудолюбивом и простом существовании для сельского человека не так трудно постичь, чтоб отнести ее к химерам. Печальные и сладостные слова Вергилия: «О, счастливый человек полей, если бы он сознавал свое счастье!» — являются сожалением, но, как все сожаления, это одновременно и предсказание. Придет день, когда землепашец сможет быть также художником, если не для того, чтобы выражать (это не будет иметь тогда значения), то для того, по крайней мере, чтобы чувствовать прекрасное. Не существует ли в нем уже это таинственное созерцание поэзии в виде особого инстинкта или смутных мечтаний? У тех, кто обладает хотя бы небольшим достатком и у кого горесть отчаяния не душит всякое развитие нравственное и интеллектуальное, у них уже есть, в первичной его стадии, чистое сознание,

прочувствованное и оцененное; и к тому же, если из лона страданий и труда поднимались уже голоса поэтов, то зачем же утверждать, что работа рук исключает духовную работу? Это бывает лишь в результате чрезмерной работы и глубокой нищеты; но пусть не говорят, что, когда человек будет работать умеренно и толково, будут только плохие работники и плохие поэты: тот, кто черпает благородные радости в чувстве поэзии, есть уже настоящий поэт, хотя бы он не сложил ни одного стиха за всю свою жизнь.

Когда мои мысли приняли это направление, я не замечала, что это доверие к духовным способностям человека подкреплялось во мне внешними влияниями. Я шла по полю, которое крестьяне начали готовить для будущего посева. Кругозор был столь же широк, как и на картине Гольбейна. Пейзаж был так же обширен, большие полосы зелени, немного покрасневшей от близости осени, окаймляли это широкое земляное пространство ярко-коричневого цвета, где недавние дожди оставили в некоторых бороздах полосы воды, блестевшие на солнце, как тонкие серебряные сетки. День был ясный и теплый, и земля, заново вспаханная, выпускала легкий пар. В конце поля старик, широкая спина и строгое лицо которого напоминали крестьянина Гольбейна, но одежда не говорила о нищете, поддерживал степенно соху весьма древнего вида, в нее впряжены были два спокойных песочного цвета вола; это были настоящие патриархи лугов, высокие, немного худые, с длинными пригнутыми рогами, из тех старых работников, которых долгая привычка сделала *братьями*, как называют их в наших деревнях, и которые, будучи лишены один другого, отказываются работать с новым товарищем и умирают от горя. Незнакомые с деревней считают басней привязанность вола к своему товарищу по упряжи. Пусть зайдут они в стойло — взглянуть на это бедное животное: худое и истощенное, оно беспокойно бьет хвостом по своим иссохшим бокам; с испугом и пренебрежением дует вол на принесенный ему корм, глаза его обращены всегда ко входу, он роет землю ногою, рядом с собой; это — пустое теперь место его товарища, и он принюхивается к его ярму и цепям, призывая его беспрестанно отчаянным мычанием. Пастух скажет: «Это — пропащая пара волов, брат его умер, и этот не станет больше работать. Нужно было бы его откормить на убой, но он не хочет есть и скоро умрет от голода».

Старый пахарь работал медленно, в молчании, без излишних усилий. Его покорная, пара волов тоже не торопилась; но благодаря продолжительной, непрерывной работе и испытанной и выдержанной трате сил, его борозда была так же скоро закончена, как борозда его сына, который вел на некотором расстоянии четырех менее сильных волов по более трудной и каменистой полосе земли.

Но то, что привлекло затем мое внимание, было действительно прекрасным зрелищем, благородным сюжетом для художника. На другом конце обрабатываемого поля молодой человек привлекательного вида правил великолепной упряжкой из четырех пар молодых темнорыжих с огненным отливом животных; короткие их головы немного кудрявились; в них чувствовался еще дикий бык: и эти беспокойные глаза, эти резкие движения, эта работа, нервная и неровная, — все это указывало, что они еще продолжают раздражаться ярмом и острою палкой погонщика и подчиняются недавно возложенному на них игу, лишь содрогаясь от ярости. Это были так называемые *свеже-связанные* волы. Мужчина, который ими правил, должен был вспахать угол, ранее запущенный под пастбище и полный вековых пней; это была работа для атлета, и на нее едва хватало его силы, его молодости и его восьми волов, почти еще не прирученных.



Ребенок шести или семи лет, прекрасный, как ангел, с плечами, прикрытыми поверх блузы шкурой ягненка, делавшей его похожим на маленького Иоанна Крестителя художников эпохи Возрождения, шел по соседней борозде и подгонял быков длинной и легкою палкой, оканчивавшейся немного заостренною сталью. Гордые животные содрогались под маленькой ручкой ребенка и сильными толчками сотрясали дышло, от чего скрипели ярмо и ремни, перевязанные на их лбах. Когда какой-нибудь корень приостанавливал сошник, пахарь кричал могучим голосом, называя каждое животное по имени, скорее для того, чтобы успокоить их, чем для того, чтобы возбудить, так как волы, разъяренные этим внезапным препятствием, подпрыгивали, копали землю своими широкими, раздвоенными копытами и кинулись бы в сторону, унося с собою орудие, если бы голосом и острием длинной палки молодой человек не сдерживал бы ближайших четырех в то время, как ребенок управлял четырьмя другими. Он кричал тоже, бедняжка, — голосом, который хотел бы сделать страшным, но который оставался нежным, как и его ангельское личико. Все это было восхитительно по своей силе или по очарованию: пейзаж, мужчина, ребенок, волы под ярмом, и, несмотря на эту могучую борьбу, где земля была побеждена, чувствовалось что-то мягкое, глубоко спокойное, что царило надо всем этим. Когда препятствие бывало преодолено и упряжка волов вновь шла ровно и торжественно, пахарь, которого мнимая свирепость была лишь упражнением силы и

трагой энергии, внезапно опять обретал безмятежность, свойственную простым душам, и бросал взгляд отеческого удовлетворения на своего ребенка, который оборачивался, чтобы ему улыбнуться. Затем мужественный голос этого молодого отца семейства запевал торжественную и меланхолическую песнь, которую древний обычай страны передает не всем пахарям без различия, а лишь наиболее совершенным в искусстве возбуждать и поддерживать усердие рабочих волов. Эта песнь, происхождение которой, может быть, считалось священным и которой, вероятно, приписывали раньше какие-нибудь таинственные свойства, еще и теперь славится тем, что она поддерживает мужество этих животных, умиряет их недовольство и рассеивает скуку их долгой работы. Недостаточно уметь управлять ими, вычерчивая на земле совершенно прямолинейную борозду, облегчать их труд, приподнимая или углубляя, насколько нужно, железо в землю; не будешь совершенным пахарем, если не умеешь петь для волов, а это целая наука, которая требует вкуса и особых способностей.

Эта песня, по правде сказать, является просто своего рода речитативом, прерывающимся и вновь возобновляющимся по желанию. Ее неправильная форма и неверные, согласно музыкальным правилам, интонации делают ее непередаваемой. Но, тем не менее, это прекрасная песнь, и она так приноровлена к особенностям той работы, которую она сопровождает, к походке вола, к покою сельской местности, к простоте людей, которые ее произносят, что никакой гений, чуждый крестьянской работе, ее не придумал бы, и никакой другой певец, кроме *искусного землепашца* этой округи, не сумел бы ее пересказать. В то время года, когда нет никакой другой работы и никакого другого движения в деревне, кроме пахоты, это пение, такое нежное и могучее, поднимается, как голос ветра, с которым роднит его особенная его тональность. Финальная нота каждой фразы, которая дрожит и держится с необычайной силой дыхания, поднимается на четверть тона, систематически фальшивя. Это дико, но полно невыразимой прелести; и когда привыкнешь это слушать, то не можешь представить себе, чтобы какое-либо другое пение могло раздаваться в эти часы и в этих местах, не нарушая их гармонии.

И вот случилось так, что у меня перед глазами была картина, контрастирующая с картиной Гольбейна, хотя сцена была та же самая. Вместо печального старца — молодой и бодрый мужчина; вместо упряжки исхудалых, измученных лошадей — двойная четверка сильных и горячих волов; вместо смерти — прекрасный ребенок; вместо образа отчаяния и мысли о разрушении — зрелище энергии и мысль о счастье.

И тогда французское четверостишие:

Работая в поте лица и т. д.

и «O, fortunatos... agricolas» Вергилия одновременно возникли во мне, и, видя эту пару, такую красивую, мужчину и ребенка, выполняющих в таких поэтических условиях, с таким изяществом, соединенным с силой, работу, полную величия и торжественности, я испытала чувство глубокой жалости, смешанной с невольным уважением. Счастлив земледелец! Да, конечно, я была бы счастлива на его месте, если бы мои руки, сделавшись внезапно крепкими, а моя грудь могучей, могли оплодотворять и воспевать природу так, чтобы мои глаза не переставали видеть, а мой ум понимать гармонию красок и звуков, тонкость тонов и изящество контуров, одним словом, тайную красоту предметов, и особенно чтобы мое сердце не переставало быть в гармонии с божественным чувством, которое заботливо управляло вселенной, бессмертной и величественной.

Но, увы! Этот мужчина никогда не понимал тайны прекрасного, этот ребенок никогда ее не поймет! Боже меня избави думать, что они не выше животных, над которыми они властвуют, и что у них не бывает временами своего рода восторженных откровений, которые прогоняют их усталость и усыпляют их заботы! Я вижу на их благородном челе печать господа, так как они — прирожденные цари земли, гораздо более, чем те, которые владеют ею за деньги. И доказательством этого является то, что их нельзя безнаказанно удалять от отчизны, что они любят эту землю, омоченную их потом, что настоящий крестьянин умирает от тоски по родине в своей солдатской форме, вдали от полей, на которых он родился. Но этому человеку не хватает некоторых радостей, которыми обладаю я: радостей духовных, а их надлежало бы дать ему, работнику обширного храма, который может быть объят одним только небом. У него недостает сознания своего чувства. Те, кто приговорили его к рабству с материнского чрева, не могли отнять у него способности мечтать, но лишили его способности размышлять.

Ну, что же, такой, как он есть, несовершенный и приговоренный к вечному детству, он все-таки значительно лучше тех, у кого наука задушила чувства. Не возноситесь высоко над ним, вы, те самые, кто думает, что облечены законами и неотъемлемым правом повелевать ему, ибо это ужасающее заблуждение ваше доказывает, что ваш ум убил ваше сердце, и вы самые несовершенные, самые слепые из людей ... И я предпочитаю эту простоту его души ложному просвещению вашей; и если бы мне пришлось рассказать его жизнь, я с большим бы удовольствием выделила ее приятные и трогательные стороны, в противоположность вам, когда вы изображаете ту низость, в которую он может быть ввергнут благодаря суровости и оскорблениям, диктуемым вашими социальными правилами.

Я была знакома с этим молодым человеком и с этим прекрасным ребенком, я знала их историю, так как у них была история; все люди имеют свою, и каждый мог бы заинтересоваться романом своей собственной жизни, если бы он его понял... Хотя он был крестьянином и всего лишь простым земледельцем, Жермен отдавал себе отчет в своих обязанностях и привязанностях. Он рассказал мне о них простодушно и ясно, и я выслушала его с интересом. После того как я достаточно долго наблюдала за тем, как он пашет, я спросила себя, почему бы его истории и не быть записанной, хотя она очень простая, очень прямая и неприкрашенная, как борозда, которую он начертил своим плугом.

В будущем году эта борозда будет засыпана и покрыта новой бороздой. Так отпечатлевается и исчезает след большинства людей на поле человечества. Немного нужно земли, чтобы стереть его, и борозды, проведенные нами, чередуются одна за другой, как могилы на кладбище. Не стоит ли борозда, оставшаяся от пахаря, борозды праздного человека, который однако имеет имя, — имя, которое останется, если благодаря какой-нибудь странности или нелепости он немного пошумел на земле...

Итак, извлечем, если возможно, из ничтожества забвения борозду Жермена, *искусного землепашца*. Он ничего этого не узнает, и это его не потревожит; но мне доставит некоторое удовольствие самая попытка это сделать.

III

СТАРИК МОРИС

— Жермен, — сказал ему однажды его тесть, — тебе, однако, нужно решиться и взять себе жену. Вот уже скоро два года, как ты вдовеешь, и твоему старшему семь лет. Ты приближаешься к тридцати годам, сынок, а ты знаешь, что в эти годы мужчина считается в наших краях чересчур старым, чтобы снова обзаводиться семьей. У тебя трое прекрасных детей, которые до сих пор нас совсем не стесняли; жена моя и невестка заботились о них, как только могли, и любили, как должны были любить. Малютка-Пьер почти на ногах; он уже довольно славно подгоняет быков; он довольно понятлив, чтобы стеречь на лугу скотину, и достаточно силен, чтобы водить лошадей на водопой. Значит, не этот нас затрудняет; но двое других, которых мы однако любим, бог это видит, эти невинные бедняжки, они в этом году нас очень беспокоят. Моя невестка должна скоро родить, у нее еще совсем маленький на руках. И когда тот, кого мы ожидаем, появится, она не сможет больше возиться с твоею маленькою Соланж и особенно с твоим Сильвэном, которому нет еще четырех лет, и он не бывает спокойным ни днем, ни ночью. Это резвая кровь, совсем как твоя; из него выйдет хороший работник, но ребенок он отчаянный, а моя старуха не бегаёт уже так скоро, чтобы ловить его, когда он удирает к самому рву, или когда он бросается под ноги животным. И, кроме того, как только разрешится невестка, ее предпоследний свалится, по крайней мере на год, на руки моей жены. Вот почему твои дети заботят нас и обременяют. Мы не любим видеть детей без присмотра; и когда думаешь о всех злоключениях, которые могут с ними случиться из-за недосмотра, голова никогда не бывает спокойна. Итак, тебе нужна другая жена, а мне другая невестка. Подумай об этом сынок. Я уже несколько раз тебе об этом напоминал, время идет, годы не станут тебя ждать. Ты должен ради своих детей и для всех нас, — а ведь нам хочется, чтоб в доме все шло хорошо, — жениться опять, и как можно скорее.

— Ну, что же, отец, — ответил зять, — если вы этого обязательно хотите, придется сделать по-вашему. Но не скрою от вас, что это будет мне очень тяжело, и у меня на это столько же охоты, как пойти и утопиться. Знаешь, кого теряешь, и не знаешь, кого найдешь. У меня была славная жена, красивая женщина, кроткая, бодрая, добрая дочь и добрая мать, ласковая к своему мужу, добрая к своим детям, хорошая работница на полях и дома, ловкая рукодельница, вообще способная ко всему; и, когда вы мне ее дали, а я ее взял, мы не поставили в наши условия, что я должен ее забыть, если буду иметь несчастье ее потерять.

— Ты говоришь от доброго сердца, Жермен, — возразил старик Морис, — я знаю, что ты любил мою дочь и сделал ее счастливой, и если бы ты мог удовлетворить смерть, заменив Катерину собою, она и теперь была бы жива, а ты был бы на кладбище. Она заслуживала того, чтобы быть так сильно любимой тобою, а если ты не можешь утешиться, то и мы точно так же. Но я не говорю о том, чтобы ее забыть. Господу было угодно, чтобы она нас покинула, и мы никогда не проводим дня, чтобы не дать ей знать нашими молитвами, нашими мыслями, нашими словами, что мы чтим ее память и огорчены ее уходом. Но если бы она могла говорить с того света и дать тебе знать о своей воле, то она приказала бы тебе искать мать для своих маленьких сирот. Значит, все дело в том, чтобы найти женщину, достойную ее заменить. Это не очень-то легко, но и не невозможно; и когда мы ее тебе найдем, ты полюбишь ее, как любил мою дочь, потому что ты честный человек и будешь ей благодарен, что она оказывает нам услугу и любит твоих детей.

— Хорошо, отец, — сказал Жермен, — я исполню вашу волю, как делал всегда.

— Нужно отдать тебе справедливость, сын мой, ты всегда слушался голоса дружбы и разумных доводов главы твоей семьи. Подумаем же вместе о выборе новой жены. Во-первых, я думаю, что тебе не нужно брать очень юную. Это не то, что тебе нужно. Юность легкомысленна; воспитывать же троих детей, особенно если они от другой, нелегкое бремя, и, значит, тебе нужно найти добрую душу, очень благоразумную, очень кроткую и склонную к работе. Если твоя жена не будет приблизительно одних лет с тобой, у нее не будет достаточно причин, чтобы взять на себя такое обязательство. Она найдет тебя чересчур старым, а детей слишком маленькими. Она будет недовольна, а твои дети будут страдать.

— Вот отменно это меня и беспокоит, — сказал Жермен. — А что, если этих бедных крошек будут обижать, ненавидеть, бить?

— Не дай-то бог! — возразил старик. — Но злые женщины более редки в нашей стране, чем добрые, и нужно быть безумцем, чтобы взять себе такую неподходящую.

— Это правда, отец: есть добрые девушки в нашем селе. Ну вот, скажем, Луиза, Сильвена, Клоди, Маргарита... словом, какую вы захотите.

— Тихонько, тихонько, сынок, все эти девушки чересчур молоды или чересчур бедны... или слишком хорошенькие; ведь об этом тоже нужно подумать. Хорошенькая женщина не бывает такою степенной, как другие.

— Так вы хотите, чтобы я взял безобразную? — сказал Жермен, немного обеспокоенный.

— Нет, не безобразную, ведь эта женщина даст тебе еще и других детей, а ничего нет печальнее, как иметь некрасивых, хилых и болезненных ребятишек. Но женщина, еще свежая, крепкого здоровья, ни красивая, ни безобразная, очень хорошо бы к тебе подошла.

— Я отлично вижу, — сказал Жермен, улыбаясь немного печально, — что для того, чтобы получить ее такой, как вы этого хотите, нужно нарочно ее заказать: тем более, что вам не хочется, чтобы она была бедна, а богатую нелегко найти, особенно вдовцу.

— А если бы она сама была вдовою, Жермен, а? — вдовой без детей и с хорошим состоянием.

— Я не знаю такой сейчас в нашем приходе.

— И я также, но есть кое-где в другом месте.

— Вы имеете кого-нибудь в виду, отец, тогда скажите это сейчас же.

IV

ЖЕРМЕН, ИСКУСНЫЙ ЗЕМЛЕПАШЕЦ

— Да, я имею кого-то в виду, — ответил старик Морис. — Она из семьи Леонаров, вдова Герена, живет в Фурше.

— Я не знаю ни этой женщины, ни этой местности, — сказал Жермен, покоряясь, но становясь все более и более печальным.

— Ее зовут Катериной, как и твою покойную.

— Катериной! Да, мне доставило бы удовольствие произносить это имя: Катерина. И, однако, если я не смогу ее любить так же, как любил покойную, это причинит мне еще больше горя, это будет мне ее напоминать еще чаще.

— Я тебе говорю, что ты ее полюбишь: это хороший человек, женщина с добрым сердцем; правда, я ее очень давно не видал, но она не была некрасивою девушкой; только уже не молода, ей тридцать два года. Она из хорошей семьи, все они порядочные люди, и у нее на восемь или на десять тысяч франков земли, которую она охотно продаст, чтобы купить новую там, где она устроится, так как она думает снова выйти замуж, и я знаю, что, если твой характер подойдет, она не нашла бы твое положение плохим.

— Так вы, значит, все это уже устроили?

— Да, исключая того, что не спросил мнения вас обоих; а это уже придется самим вам спросить друг у друга, когда вы познакомитесь. Отец этой женщины — дальняя моя родня и был моим большим другом. Ты его хорошо знаешь — это старик Леонар.

— Да, я видел, как он с вами разговаривал на ярмарках, а на последней вы даже завтракали вместе; так вот о чем он так долго с вами беседовал!

— Конечно, он на тебя смотрел, как ты продавал скот, и находил, что ты хорошо за это берешься, что у тебя здоровый вид и что ты кажешься деятельным и смышленным; а когда я ему все рассказал о тебе, как ты хорошо себя ведешь с нами, вот уже восемь лет, как мы живем и работаем вместе, и что никогда не было от тебя ни одного горького или обидного слова, он забрал себе в голову, что надо женить тебя на своей дочери; это подходяще и для меня, я тебе в этом сознаюсь, — про нее идет добрая слава, а семья эта очень порядочная, и дела их, я знаю, неплохи.

— Я вижу, отец, что вас соблазняют немного как раз эти их неплохие дела.

— Конечно, а тебя разве нет?

— Если хотите, да, чтобы доставить вам удовольствие; что же касается до меня, то вы хорошо знаете, что я никогда не забочусь о том, сколько пришлось или не пришлось на мою долю из общих наших барышей. Я совсем слаб насчет дележа, и моя голова негодна для подобных вещей. Я знаю землю, знаю быков, лошадей, упряжки, семена, молотьбу, корма. А вот что касается баранов, виноградника, садоводства, мелких доходов и специальных культур, то вы знаете, что все это — дело вашего сына, и я в это особенно не вмешиваюсь. На деньги же память моя коротка, и я предпочел бы скорее во всем уступить, чем ссориться насчет твоего и моего. Я побоялся бы ошибиться и потребовать то, чего мне не полагается, и если бы дела не были просты и ясны, я никогда бы в них не разобрался.

— Тем хуже, сын мой, и потому-то я и хочу, чтобы у тебя была жена с головой и чтобы она заменила меня, когда меня не станет. Ты никогда не хотел вникать в наши расчеты, и это может привести к неприятностям с моим сыном, когда меня уже не будет с вами, чтобы вас примирить и сказать, что приходится на долю каждого!

— Дай вам бог еще долго прожить, отец! Но не беспокойтесь о том, что будет после вас; я никогда не буду ссориться с вашим сыном. Я доверяю Жаку, как вам самому, а так как у меня нет собственного состояния, и все, что приходится на мою долю, идет от вашей дочери и принадлежит ее детям, я могу быть спокоен, и вы также; Жак не захочет обижать детей своей сестры в пользу своих, так как он любит почти одинаково тех и других.

— В этом ты прав, Жермен. Жак — добрый сын, добрый брат и человек, любящий справедливость. Но Жак может умереть раньше тебя, до того, как ваши дети станут на ноги; в каждой семье нужно всегда думать о том, чтобы не оставить малолетних без главы семьи, который давал бы им советы и разрешал бы их недоразумения. Иначе, того и гляди, вмешаются судейские, поссорят их окончательно и разорят на одни тяжбы. Итак, прежде чем брать к себе еще одного человека, мужчину или женщину, мы всегда должны подумать, что ему придется, может быть, управлять поведением и делами трех десятков детей, внуков, зятьев и невесток... Никогда не знаешь, насколько может разрастись семья, а когда улей чересчур полон и нужно роиться, всякий старается унести свой мед. Когда я тебя взял в зятья, хотя дочь моя была богата, а ты беден, я не упрекнул ее за такой выбор. Я видел, что ты отличный работник, и хорошо знал, что лучшее богатство для деревенских людей, как мы, это пара хороших рук и сердце, как твое. Когда мужчина приносит это в семью, этого достаточно. Но женщина — другое дело: ее работа в доме хороша, чтобы сохранять, но не для того, чтобы приобретать. Кроме того, теперь, когда ты отец и ищешь жену, нужно подумать и о твоих новых детях; не имея ничего из наследства твоих детей от первого брака, они могут в случае твоей смерти очутиться в нужде, если только твоя жена со своей стороны не будет иметь некоторого состояния. И прокормить детей, которыми ты увеличишь нашу семью, будет тоже чего-нибудь да стоить. Если это всецело упадет на нас, мы их будем кормить, и не сетуя; но общее благосостояние от этого уменьшится, и на первых детей также придется меньше. Когда семья чересчур увеличивается, а достаток не догоняет ее, приходит нужда, как бы мужественно с ней ни боролись. Вот мои наблюдения. Жермен, взвесь их и постарайся быть хорошо принятым вдовой Герен; ее доброе поведение и ее эку принесут сюда помощь теперь и спокойствие для будущего.

— Ладно, отец. Я постараюсь ей понравиться, и чтобы она мне понравилась.

— Для этого нужно ее увидеть и пойти к ней.

— Туда, где она живет? В Фурш? Это далеко отсюда, не правда ли? И в эту пору у нас совсем нет времени бегать.

— Когда дело идет о браке по любви, нужно рассчитывать, что потеряешь много времени; но когда это брак по рассудку между двумя людьми без всяких капризов, и которые хорошо знают, чего они хотят, то это решается быстро. Завтра суббота; ты кончишь пахоту пораньше и отправишься в дорогу около двух часов пополудни; в Фурше ты будешь к ночи; сейчас полная луна, дороги хорошие, и пройти нужно не более трех миль. Это близ Манье. Да к тому же ты возьмешь кобылу.

— Я пошел бы с удовольствием и пешком в эту прохладную пору.

— Да, но кобыла хороша, и жених на ней будет лучше выглядеть. Ты наденешь свое новое платье и отвезешь дичи получше — в подарок старику Леонару. Ты явишься от моего имени, поговоришь с ним, проведешь воскресный день с его дочерью и вернешься с тем или другим ответом в понедельник утром.

— Это решено, — ответил спокойно Жермен, однако же он не был совершенно спокоен.

Жермен всегда жил благоразумно, как живут все работающие крестьяне. Он женился двадцати лет и любил только одну женщину за всю свою жизнь; со времени своего вдовства, хотя он и был нрава живого и веселого, он не смеялся и не шутил ни с какой другой

женщиной. Он верно носил в своем сердце настоящую печаль и не без боязни и грусти уступил своему тестю; но тесть всегда разумно управлял семьей, и Жермен, который всецело предался общему делу и, следовательно, тому, кто его олицетворял, отцу семейства, не мог понять, чтобы можно было идти против разумных доводов, против всеобщего интереса. Тем не менее он был печален. Редкий день проходил без того, чтобы он не оплакивал тайно своей жены, и, хотя одиночество начинало его тяготить, в нем было больше боязни заключить новый союз, нежели желания избавиться от своего горя. Смутно говорил он себе, что любовь, пришедшая внезапно, могла бы его утешить, так как любовь всегда утешает именно так. Ее не находишь, когда ищешь; она приходит к нам тогда, когда мы ее не ждем. Этот холодный брак, по расчету, на который ему указывал старик Морис, эта незнакомая невеста, может быть даже все то хорошее, что говорили об ее уме и добродетели, все это заставляло его призадуматься. И он ушел, размышляя, как размышляют люди, у которых недостаточно мыслей, чтобы они могли бороться между собой, то есть он не мог ясно осознать, сам в себе, достаточно основательных доводов для сопротивления во имя своего эгоизма, а только страдал глухою болью и не боролся со злом, которое нужно было принять. Между тем старик Морис вернулся на хутор, а Жермен употребил последний час дня, между заходом солнца и ночью, для того, чтобы заделать дыры, пробитые овцами в изгороди, близкой к постройкам. Он поднимал колючие стебли и обсыпал их землею, чтобы они крепче держались, в то время как дрозды щебетали на соседнем кусте и, казалось, торопили его; им любопытно было подлететь поближе и посмотреть на его работу, как только он уйдет.

Старик Морис нашел у себя старую соседку, которая пришла поболтать с его женой, а кстати и прихватить угольков, чтобы разжечь свой огонь. Старуха Гилета жила в очень бедной хижине на расстоянии двух ружейных выстрелов от фермы. Но это была женщина порядка и твердой воли. Ее бедное жилище чисто и хорошо содержалось, одежда ее, старательно заплатанная, говорила об уважении к себе, невзирая на всю ее бедность.

— Вы пришли за вечерним огнем, тетка Гилета, — сказал ей старик. — Не хотите ли еще чего-нибудь?

— Нет, — ответила она, — мне ничего сейчас не нужно. Я ведь не попрошайка, вы это знаете, и я не злоупотребляю добротой моих друзей.

— Это верно; и ваши друзья в свою очередь всегда готовы оказать вам услугу.

— Я как раз собиралась поговорить с вашей женой и хотела спросить ее, не надумал ли, наконец, ваш Жермен снова жениться?

— Вы не болтунья, — ответил старик Морис, — с вами можно говорить, не боясь пересудов; так и быть, я скажу моей жене и вам, что Жермен — да, он решился; завтра же он уезжает в Фурш.

— В добрый час! — воскликнула старуха Морис: — этот бедный ребенок! Дай ему бог найти жену такую же добрую и честную, как он сам.

— А! — он едет в Фурш, — заметила Гилета. — Вот как это выходит! Меня это очень устраивает, а раз вы меня только что спрашивали, не нужно ли мне чего, я сейчас вам скажу, дядя Морис, чем вы можете мне помочь.

— Говорите, говорите, мы готовы всегда услужить.

— Я бы хотела, чтобы Жермен взял на себя труд повезти с собой мою дочь.

— Куда же, в Фурш?

— Нет, не в Фурш, а в Ормо, где она пробудет весь остаток года.

— Как! — воскликнула старуха Морис, — вы расстаетесь со своей дочерью?

— Пора уже поступить ей на место и что-нибудь зарабатывать. Мне это очень тяжело, да и ей тоже, бедняжке! Мы не могли решиться расстаться друг с другом на Иванов день; но вот наступает святой Мартын, и она находит хорошее место в Ормо. Тамошний фермер проезжал тут как-то на днях с ярмарки. Он увидел мою маленькую Мари, которая пасла своих трех овец на общественной земле. «Вы совсем, девчурка, не заняты, — сказал он ей, — ведь три овцы для пастушки — это ничто. Не хотите ли пасти их целую сотню? — Я вас увожу. Наша пастушка заболела и возвращается к своим родителям; если вы захотите поступить к нам не позже как на этой неделе, вы получите пятьдесят франков за весь конец года до Иванова дня». Дитя сначала отказалась, но не могла об этом не думать и не сказать мне, когда, вернувшись вечером, нашла меня грустной и озабоченной перед предстоящей зимой, которая будет длинна и сурова, потому что в этом году журавли и дикие утки улетели на месяц раньше, чем обыкновенно. Мы обе плакали, но потом собрались с духом. Мы сказали себе, что не можем оставаться вместе, так как на нашем кусочке земли с трудом может прокормиться только один человек; и так как маленькая Мари вошла в лета (ей исполнилось шестнадцать лет), нужно, чтобы она, как и другие, сама зарабатывала себе на хлеб и помогала своей бедной матери.

— Тетка Гилета, — сказал старый пахарь, — если бы пятьдесят франков могли утешить

ваши горести и избавить ваше дитя от необходимости отправиться так далеко, право, они бы у меня нашлись для вас, хотя пятьдесят франков для таких людей, как мы, и очень ощутительная сумма. Но во всех таких случаях нужно слушаться голоса разума так же, как и голоса дружбы. Если вы спасетесь от нужды в эту зиму, то не спасетесь от нее в будущем, и чем позднее ваша дочь решится взять место, тем труднее будет вам обоим расставаться. Маленькая Мари становится большой и сильной, и ей нечего делать у вас. Она может попросту разлентиться.

— О! Этого я совсем не боюсь, — сказала Гилета. — Мари такая же хорошая работница, как и всякая богатая девушка, стоящая во главе большой работы. Она ни минуты не сидит со сложенными руками, и, когда нам нечего делать, она чистит и трет нашу бедную мебель так, что она блестит как зеркало. У этого ребенка золотые руки, и я гораздо больше бы хотела, чтобы она поступила пастушкой к вам, чем уезжать так далеко к людям, которых я не знаю. Вы бы взяли ее на Иванов день, если бы мы тогда смогли на это решиться; но теперь вы уже всех наняли, и мы можем об этом думать только на Иванов день следующего года.

— Да! я от всего сердца на это согласен, Гилета! Это мне доставит удовольствие. Но пока ей хорошо подучиться своему делу и привыкнуть служить другим.

— Да, конечно; жребий брошен, фермер из Ормо прислал спросить ее сегодня утром, мы сказали — да, и ей нужно уезжать. Но бедное дитя не знает дороги, и мне не хотелось бы посылать ее одну так далеко. Раз ваш зять едет завтра в Фурш, он может ее взять с собой. Это, кажется, совсем рядом с поместьем, куда ей нужно, так, по крайней мере, мне сказали, так как сама я там никогда не была.

— Это совсем рядом, и мой зять ее возьмет с собою. Это так; он даже сможет взять ее верхом на кобылу, таким образом она сбережет свои башмаки. Вот он возвращается к ужину. Послушай-ка, Жермен, маленькая Мари поступает пастушкой в Ормо. Ты ее отвезешь на своей лошади, не правда ли?

— Хорошо, — сказал Жермен; хотя он и был озабочен, но всегда был готов услужить ближнему.

В нашем кругу никакой матери не пришло бы никогда в голову поручить свою шестнадцатилетнюю дочь мужчине двадцати восьми лет! — так как Жермену было, действительно, всего двадцать восемь лет и хотя, по местным понятиям, он считался уже старым, если думать о возможности брака, но все же был самым красивым мужчиной в округе. Работа не иссушила и не изнурила его, как большинство крестьян, проработавших десять лет над землей. Он был в силах работать и еще десять лет и не состариться, и нужно было, чтобы предрассудок относительно возраста был очень силен в сознании молодой девушки, чтобы помешать ей увидеть, что у Жермена был свежий цвет лица, живые и голубые, как майское небо, глаза, розовый рот, превосходные зубы, красивое и гибкое тело, как у молодой лошади, еще не покинувшей лугов.

Но чистота нравов есть священная традиция в некоторых деревнях, отдаленных от развратной сутолоки больших городов, и между всеми семьями Белэра семья Мориса славилась своей честностью и порядочностью: Жермен ехал, чтобы найти себе жену; Мари была чересчур юна и бедна, чтобы он мог подумать о ней в этом смысле; и нужно было быть бессердечным и плохим человеком, чтобы появились какие-нибудь грешные мысли относительно нее. И старик Морис нисколько не был обеспокоен, увидав, что он берет к себе на лошадь эту хорошенькую девушку; и Гилета побоялась бы его оскорбить напоминанием, что он должен уважать ее, как сестру; Мари, плача, влезла на кобылу, после того как двадцать раз поцеловала свою мать и своих юных подруг. Жермен, печальный сам по себе, тем более сочувствовал ее горю, и отъехал с очень серьезным видом в то время, как соседи, махая

рукой, прощались с маленькой Мари и не думали ничего плохого.

VI

МАЛЮТКА-ПЬЕР

Серка была молода, красива и сильна. Она без всякого усилия несла свою двойную ношу, прижимая уши и грызя удила, как и подобает гордой и горячей кобыле. Проезжая вдоль луга, она заметила свою мать, которую называли старой Серкой, как ее самое звали молодой Серкой, и заржала ей в знак прощания. Старая Серка подошла к изгороди, позвякивая своими железными путами, и попробовала поскакать по краю луга за дочерью; но, увидав, что та пустилась крупною рысью, она заржала в свою очередь и остановилась — задумчивая, обеспокоенная, нос по ветру, не думая больше жевать траву, которой у нее был полон рот.

— Это бедное животное все еще помнит свою кровь, — сказал Жермен, чтобы отвлечь немного маленькую Мари от ее горя. — Это мне напоминает, что я не поцеловал своего маленького Пьера, перед тем как уехать. Гадкого ребенка не было дома! Он хотел вчера вечером, чтобы я дал ему обещание взять его с собой, и он проплакал целый час в своей кровати. Нынче утром опять он пробовал меня убедить. О, какой он ловкий и ласковый! Но, когда он увидел, что ничего не выходит, господинчик наш рассердился: он ушел в поле, и я его не видел все утро.



— А я его видела, — сказала маленькая Мари, делая усилие, чтобы сдержать слезы. — Он бежал с детьми в ту сторону, где у нас порубки, и я сейчас же догадалась, что он давно уже из дому, так как он был очень голоден и ел терн и ежевику. Я отдала ему хлеб от своего завтрака, и он сказал: «Спасибо, моя маленькая Мари, когда ты придешь к нам, я тебе дам лепешек». Ужасно у вас милый ребенок, Жермен!

— Да, он очень милый, — сказал крестьянин, — и я не знаю, чего бы я только не сделал для него! Если бы его бабушка не была более рассудительна, чем я, я не мог бы удержаться и взял бы его с собой, он так сильно плакал, и его бедное маленькое сердечко так сильно билось.

— Ну, что же, почему бы вам его и не взять, Жермен? Он бы вам ничуть не помешал, он такой благоразумный, когда исполняют то, чего ему хочется.

— Кажется, он был бы лишним там, куда я еду. По крайней мере, таково мнение дяди Мориса. А я думал, что, как раз наоборот, нужно бы посмотреть, как его там примут, ведь с таким славным ребенком должны были бы очень ласково обойтись... Но дома говорят, что не нужно начинать с того, чтобы показывать тягости нашей жизни... Я не знаю, зачем я с тобой об этом говорю, Мари; ведь ты ровно ничего в этом не понимаешь.

— Да нет же, Жермен, я знаю, что вы едете жениться; моя мать мне это сказала, приказав

— никому об этом не говорить, ни у нас, ни там, куда я еду, и вы можете быть спокойны: я не скажу об этом на слова.

— И хорошо сделаешь, ведь ничего не решено, может быть я не подойду этой женщине.

— Нужно надеяться, что подойдете, Жермен, и почему вы можете ей не подойти?

— Кто его знает? У меня трое детей, это тяжело для женщины, которая им не мать!

— Это правда, но ваши дети не такие, как другие дети.

— Ты думаешь?

— Они красивы, как маленькие ангелочки, и так хорошо воспитаны, что не найдешь прелестнее их.

— Но Сильвэн-то не очень удобен.

— Он совсем маленький! Он не может быть другим, но он такой умный!

— Это правда, он умный и какой смелый! Он не боится ни коров, ни быков, и если бы ему только позволить, он лазил бы на лошадей вместе со старшим.

— Я на вашем месте, я взяла бы с собой старшего. Наверное, вас сейчас же бы полюбили за то, что у вас такой красивый ребенок!

— Да, если женщина любит детей; но если она их не любит!

— Разве есть женщины, которые не любят детей?

— Немного, я думаю; но все-таки есть, и это меня тревожит.

— Вы, значит, совсем не знаете этой женщины?

— Не больше, чем ты, и боюсь, что лучше ее не узнаю и после того, как увижу. Я-то ведь очень доверчив. Когда мне говорят добрые слова, я им верю; но несколько раз мне пришлось уже в этом раскаяться, ведь слова — это не поступки.

— Говорят, что это очень порядочная женщина.

— Кто это говорит, дядя Морис?

— Да, ваш тесть.

— Это прекрасно, но он ее тоже не знает.

— Ну, что же, вы ее скоро увидите, вы будете очень внимательны, и нужно надеяться, что вы не ошибетесь, Жермен.

— Знаешь, маленькая Мари, я очень бы хотел, чтобы ты вошла ненадолго в дом, перед тем как прямо идти в Ормо; ты такая наблюдательная и всегда была умницей, и ты все замечаешь. Если ты увидишь что-нибудь неподходящее, ты тихонечко предупреди меня.

— О нет, Жермен, я этого не сделаю, и я буду бояться ошибиться; да и кроме того, если какое-нибудь мое легкомысленное слово отвлечет вас от этого брака, ваши родители на меня рассердятся, а с меня уже и так достаточно горестей, и я не хочу навлекать еще новых на бедную мою дорогую мать.

Пока они так разговаривали, Серка отшатнулась, насторожив уши, затем пошла вперед и приблизилась к кусту, где что-то, что она начинала узнавать, сначала ее испугало.

Жермен бросил взгляд на куст и увидел во рву, под густыми и еще свежими ветками срубленной дубовой верхушки, что-то такое, что он принял за ягненка.

— Это заблудившееся животное, — сказал он, — или мертвое, оно не двигается. Может быть кто-нибудь его разыскивает, нужно посмотреть.

— Да это не животное, — воскликнула маленькая Мари: — это спит ребенок; это ваш малютка-Пьер!

— Вот так история! — сказал Жермен, слезая с лошади, — полюбуйтесь-ка на этого шалунишку, как он спит тут, так далеко от дома, да еще во рву, где могут быть змеи!

Он взял на руки ребенка, который улыбнулся ему и, открыв глаза и обхватив его за шею руками, сказал:

— Папочка, ты меня возьмешь с собой!

— Да, да, все та же песня! Что вы там делали, гадкий Пьер?

— Я ждал моего папочку, когда он проедет, — сказал ребенок, — я смотрел на дорогу и так старался, что заснул.

— Если бы я проехал и тебя не увидал, ты бы остался тут на всю ночь и тебя заели бы волки.

— О, я хорошо знал, что ты меня увидишь, — ответил Малютка-Пьер доверчиво.

— Ну, а теперь, мой Пьер, поцелуй меня, скажи мне «до свиданья» и скорее беги домой, если не хочешь, чтобы без тебя поужинали.

— Так ты не хочешь меня взять? — воскликнул малютка и начал теревить себе глаза в знак того, что он намеревается заплакать.

— Ты прекрасно знаешь, что дед и бабка этого не хотят, — сказал Жермен, отговариваясь авторитетом стариков, как человек не очень-то рассчитывающий на свой собственный.

Но ребенок ничего не слушал. Он, действительно, заплакал и сказал, что, если его отец взял с собой маленькую Мари, он может и его взять с собой. Ему возразили, что нужно будет проезжать через большие леса, что там много злых зверей, которые поедают маленьких детей, что Серка не хотела везти троих и заявила об этом при отъезде, что в тех местах, куда они едут, нет ни постели, ни ужина для мальчуганов. Все эти прекрасные доводы не убедили Малютку-Пьера; он бросился на траву, начал по ней кататься и кричать, что его папочка его больше не любит, что если он его не увезет с собой, он не вернется больше домой ни днем, ни ночью.

Родительское сердце Жермена было мягко и слабо, как у женщины. Смерть его жены и то, что он принужден был один заботиться о своих малютках, а также и думы о том, что нужно было крепко любить этих осиротевших бедняжек, сделали его таким, и в нем происходила борьба, тем более сильная, что он стыдился своей слабости и, стараясь скрыть ее от маленькой Мари, весь покрылся потом, и на покрасневших его глазах готовы были выступить слезы. Наконец, он попробовал рассердиться; но, обернувшись к Мари, будто желая ее взять свидетельницей своей твердости, он увидел, что лицо доброй девушки было все в слезах; тут мужество уже окончательно покинуло его, и он не был больше в состоянии сдерживать и своих слез, хотя и продолжал в то же время грозить и браниться.

— Право, у вас чересчур жестокое сердце, — сказала ему, наконец, маленькая Мари, — я бы никогда не могла противиться ребенку, когда у него такое большое горе. Полно, Жермен, возьмите его с собой. Ваша кобыла привыкла носить на спине двух взрослых и ребенка, ваш шурин вместе с женой, которая на много тяжелее меня ездят на ней по субботам на базар со своим мальчиком. Вы посадите его верхом впереди вас, да к тому же и я лучше пойду одна пешком, чем причиню огорчение этому малютке.

— Если бы дело было только в этом, — ответил Жермен, которому до смерти хотелось дать себя убедить. — Серка сильна и могла бы понести еще двоих, если бы хватило места на ее спине. Но что мы будем делать с этим ребенком в дороге, ему будет холодно, он проголодается... и кто позаботится о нем сегодня вечером и завтра, чтобы его уложить спать, помыть, одеть. Я не смею навязывать эту заботу женщине, которой я не знаю и которая, конечно, найдет, что я очень бесцеремонен с ней с самого начала.

— По тому участию или недовольству, которое она проявит, вы сейчас же ее узнаете, Жермен, поверьте мне, к тому же, если она отвергнет вашего Пьера, я беру его на себя. Я завтра пойду к ней, одену его и уведу с собой в поле. Я буду забавлять его весь день и постараюсь, чтобы у него все было.

— А он тебе не надоест, бедная девочка? Не стеснит тебя? Целый день — это очень долго!

— Напротив, это доставит мне удовольствие, он побудет со мной, и мне будет менее грустно в первый день, как я буду на чужой стороне. Я буду воображать, что я еще дома.

Ребенок видел, что маленькая Мари принимает его сторону, он вцепился в ее юбку и так крепко ее держал, что его с большим трудом пришлось бы от нее оторвать. Когда он понял, что отец уступает, он взял руку Мари своими маленькими, загоревшими от солнца ручонками, поцеловал ее, и, подпрыгнув от радости, потащил ее к кобыле с тем горячим нетерпением, которое дети вкладывают во все свои желания.

— Полно, полно, — сказала девушка, поднимая его на руки, — постараемся успокоить это бедное сердечко, которое прыгает, как маленькая птичка, а если ты озябнешь, когда придет ночь, скажи мне это, мой Пьер, я тебя заверну в свой плащ. Поцелуй своего папочку и попроси у него прощения за то, что ты был нехорошим. Скажи ему, что это не повторится никогда, никогда, слышишь?

— Да, да, только под условием, что я всегда буду исполнять его волю, не правда ли? — сказал Жермен, вытирая глаза мальчика своим платком. — Ах, Мари, вы мне избалуете этого молодца. И правда, ты ужасно добрая девушка, маленькая Мари. Я не знаю, почему ты не поступила пастушкой к нам на последний Иванов день. Ты ходила бы за моими детьми, и я предпочел бы хорошо платить тебе за это, чем ехать за женой, которая, может быть, будет думать, что делает мне большое одолжение, если не будет их ненавидеть.

— Не нужно смотреть на вещи с их плохой стороны, — ответила маленькая Мари, держа лошадь за узду в то время, как Жермен сажал своего сына на перед широкого вьючного седла, обшитого козьей кожей. — Если ваша жена не будет любить детей, вы возьмете меня к себе на будущий год, и, будьте покойны, я буду так хорошо их забавлять, что они ничего не заметят.

VII

В ПУСТОШИ

— Ах, да, — сказал Жермен, когда они сделали несколько шагов, — а что подумают дома, увидев, что наш мальчик не возвращается? Родители беспокоятся и будут его всюду искать.

— А вы скажите дорожному рабочему — там, на дороге, что вы увозите мальчика, и поручите ему предупредить ваших.

— Это верно, Мари, ты очень догадлива, ты! а я и не подумал, что Жани должен был быть здесь поблизости.

— И как раз он живет совсем близко от вашего хутора и, конечно, выполнит ваше поручение.

Так и сделав, Жермен опять пустил кобылу рысью, и Малютка-Пьер был так этому рад, что и не заметил сразу, что он не обедал; но от езды его растрясло и, проехав около мили, он начал бледнеть, зевать и жаловаться, что умирает от голода.

— Вот оно, начинается, — сказал Жермен. — Я так и знал, что мы не долго проедем, и этот господинчик начнет кричать, что он голоден или хочет пить.

— Я хочу пить, — сказал Малютка-Пьер.

— Хорошо, тогда мы заедем в Корлэй в кабачок тетки Ревекки — *«На Рассвете»*. Прекрасная вывеска, но жалкое убежище! Пойдем с нами, Мари, ты выпьешь тоже немного вина.

— Нет, нет, мне ничего не нужно, — сказала она, — я подержу кобылу, пока вы войдете туда с малышом.

— Но я вспоминаю, моя славная девочка, что ты отдала сегодня хлеб от своего завтрака Пьеру, и сама выехала натошак; ты не захотела обедать с нами у нас дома, ты все время плакала.

— О, я не была голодна, я была чересчур огорчена, и клянусь вам, что и сейчас у меня нет ни малейшей охоты есть.

— Ты должна принудить себя, крошка, иначе ты заболеешь. Перед нами еще длинный путь, и не нужно приезжать туда голодными и просить хлеба раньше, чем поправляешься. Я сам хочу тебе подать пример, хотя и у меня нет большого аппетита; но я все-таки поем, кроме всего прочего, я тоже не обедал. Я видел, как вы плачете, твоя мать и ты, и это волновало мое сердце. Пойдем, пойдем, я привяжу Серку у дверей; сойди же, я так хочу.

Они все трое вошли к Ревекке, и меньше чем в четверть часа хромой толстухе удалось им подать яичницу, весьма приятную на вид, серого хлеба и светлокрасного вина.

Крестьяне едят медленно, а у маленького Пьера был такой большой аппетит, что прошел по крайней мере час, пока Жермен мог подумать о дальнейшем пути. Маленькая Мари сначала ела из любезности; потом мало-по-малу пришел голод: ведь в шестнадцать лет нельзя долго воздерживаться, а деревенский воздух очень требователен. Добрые слова, которые Жермен сумел ей сказать, чтобы ее утешить и ободрить, тоже произвели свое действие; и она сделала усилие над собою и убедила себя, что семь месяцев пройдут очень быстро и она будет счастлива, вернувшись в свою семью и в свою деревню, раз старик Морис и Жермен согласились взять ее к себе в услужение. Но когда она развеселилась и начала уже шутить с маленьким Пьером, у Жермена явилась несчастная мысль показать ей в окно кабачка прекрасный вид на долину, которая с этой высоты была вся такая сияющая, зеленая и

плодородная. Мари посмотрела и спросила, видны ли отсюда дома Белэра.

— Ну, конечно, — сказал Жермен, — и хутор, и даже твой дом. Посмотри на эту маленькую серую точку недалеко от большого тополя, пониже колокольни.

— Ах, я его вижу, — сказала девочка и опять начала плакать.

— Я напрасно напомнил тебе об этом, — сказал Жермен, — я делаю нынче одни только глупости! Полно, Мари, поедem, дочка; дни коротки и через час, когда взойдет луна, не будет тепло.

Они вновь пустились в путь и переехали большую пустошь; чтобы не утомлять девушку и ребенка чересчур быстрой ездой, Жермен пускал Серку не очень скоро, и когда они оставили дорогу и приблизились к лесам, солнце уже спряталось.

Жермен знал дорогу только до Манье, но он подумал, что можно бы сократить ее, и пустился через Пресль и Сепюльтюр — дорога, по которой он обыкновенно не ездил, когда отправлялся на ярмарку. Он ошибся в направлении и потерял еще немного времени, прежде чем они въехали в лес, но и въехал-то он в него не с той стороны чего не заметил, и, повернувшись спиною к Фуршу, он взял гораздо выше — в сторону Ардент.

Взять правильное направление помешал ему туман, поднявшийся вместе с ночью, это был один из тех осенних вечерних туманов, которые в белизне лунного сияния делаются еще более смутными и обманчивыми. Большие лужи воды, которыми были усеяны лесные прогалины, давали такие густые испарения, что, когда Серка их переходила, можно было заметить их только по чмоканию ее копыт и по тому усилию, которое она делала, чтобы их оттуда вытягивать.

Когда, наконец, они нашли хорошую лесную дорогу, совершенно прямую, и проехали ее до конца, Жермен стал соображать, где они находятся, и увидел, что сбился с пути; когда старик Морис объяснял ему дорогу, он сказал зятю, что при выходе из леса будет крутой спуск, затем будет огромный луг, и два раза нужно будет переехать реку в брод. Он даже наказывал ему осторожно въезжать в эту реку, так как в начале осени были сильные дожди и вода могла быть довольно высока.

Не видя ни спуска, ни луга, ни реки, а одну лишь голую степь, белую, как снеговая скатерть, Жермен остановился, стал искать какого-нибудь дома, поджидал прохожего, но не нашел никого, кто бы мог дать ему указания. Тогда он повернул назад и въехал обратно в лес. Но туман все сгущался, луну совсем заволокло, дороги были ужасны, и топи очень глубоки. Уже два раза Серка чуть не упала; обремененная такой тяжелою ношею, она начинала терять бодрость, и если и могла еще рассмотреть дорогу и не толкаться о деревья, то уже не могла уберечь своих седоков от крупных веток, которые загораживали дорогу на уровне их головы и были для них очень опасны. В одну из таких встреч Жермен потерял свою шляпу и с большим трудом ее разыскал. Малютка-Пьер заснул и был недвижим, как мешок, он так сильно стеснял руки отца, что тот не мог ни поддерживать, ни направлять лошади.

— Я думаю, что нас заколдовали, — сказал Жермен, останавливаясь: — эти рощи не так велики, чтобы в них потеряться, если только не быть пьяным, а мы уже два часа здесь вертимся и не можем из них выбраться. У Серки только одно на уме, чтобы вернуться поскорее домой, и она сбивает меня с толку. Если мы хотим вернуться домой, нам стоит только предоставить ей это. Но мы, может быть, в двух шагах от места, где должны переночевать, и было бы безумием от этого отказаться и опять пускаться в такой дальний путь. Однако же я все-таки не знаю, что делать. Я не вижу ни неба, ни земли, и боюсь, чтобы этот ребенок не схватил лихорадки, если мы будем еще останавливаться в этом проклятом тумане, или чтобы мы не раздавили его своею тяжестью, если лошадь споткнется и упадет.

— Не нужно нам больше упорствовать, — сказала маленькая Мари. — Сойдем, Жермен,

дайте мне ребенка, я прекрасно его понесу, и я лучше, чем вы, придержу свой плащ, чтобы он на нем не распахивался. Вы поведете кобылу за повод, и мы больше увидим, глядя поближе к земле.

Однако эта предосторожность предоохранила их лишь от падения с лошади, так как туман расстилался и, казалось, прилипал к сырой земле. Итти было очень тяжело, и вскоре они были так измучены, что остановились совсем, найдя, наконец, сухое местечко под большими дубами. Маленькая Мари была вся в поту, но она ни на что не жаловалась и ни о чем не беспокоилась. Преисполненная одною только заботой о Пьере, она села на песок и положила ребенка к себе на колени, в то время как Жермен исследовал окрестности, замотав поводья Серки за ветку дерева.

Но Серке очень надоело это путешествие, она рванулась, освободила повод, порвала подпругу и, брыкнувши несколько раз для вида выше своей головы, пустилась по лесочку, ясно показывая, что ей никого не нужно, чтобы найти дорогу.

— Так, — сказал Жермен после тщетных попыток ее догнать, — вот мы и остались теперь пешие, и если бы нашли верную дорогу, это было бы теперь ни к чему, так как нужно было бы переходить пешком через реку; а судя по тому, сколько воды на этих дорогах, мы можем быть уверены, что весь луг залит рекой. Других дорог мы не знаем. Значит, придется подождать, пока этот туман не рассеется; это не может продолжиться более часа или двух. Когда будет светло, мы поищем какой-нибудь дом, первый попавшийся на опушке леса, но сейчас мы не можем отсюда уйти; там ров, пруд и еще не знаю что — впереди нас; а позади, я тоже не могу сказать, что там есть, так как не понимаю, с какой стороны мы сюда попали.

VIII

ПОД БОЛЬШИМИ ДУБАМИ

— Ну, что же! вооружимся терпением, Жермен, — сказала маленькая Мари. — Нам не так плохо на этом небольшом возвышении. Дождь не проходит через листву этих высоких дубов, и мы можем разжечь огонь, я нащупываю несколько старых пней, которые совсем слабо держатся и достаточно сухи, чтобы гореть. У вас ведь есть огонь, Жермен? Вы только что курили вашу трубку.

— Да, был, конечно! Огниво было в моем мешке на седле, вместе с дичью, которую я вез моей невесте; но проклятая кобыла все унесла, даже мой плащ, который она потеряет или разорвет о сучья.

— Нет, нет, Жермен! Седло, плащ и мешок, все тут на земле, у ваших ног. Серка порвала подпругу и сбросила все подле себя, убегая.

— Это, истинный бог, правда! — сказал крестьянин, — и если мы найдем ощупью немного хвороста, мы сможем высушиться и обогреться.

— Это не трудно, — сказала маленькая Мари, — хворост так и хрустит тут всюду под ногами; но дайте мне сначала сюда седло.

— Что ты хочешь с ним сделать?

— А постель для маленького; нет, не так, а наоборот; он так не скатится с него; и оно все еще тепло от лошадиной спины. Подложите-ка с двух сторон камни, которые вы там видите!

— Я-то их, положим, не вижу! У тебя, верно, кошачьи глаза.

— Поглядите, все сделано, Жермен! Дайте мне ваш плащ, я заверну им его маленькие ножки, а своим плащом прикрою его самого. Глядите, ему здесь так же хорошо, как в его постельке! Пощупайте, какой он теплый!

— Это верно! Ты умеешь ухаживать за детьми, Мари!

— Не очень-то это большое колдовство. А теперь поищите ваше огниво в мешке, и я разложу дрова.

— Эти дрова никогда не разгорятся, они чересчур сырые.

— Вы во всем сомневаетесь, Жермен! Вы, верно, не помните, как были пастушком и раскладывали большие костры в полях под самым сильным дождем.

— Да, это способность детей, которые стерегут скот; но я, я был погонщиком быков, как только научился ходить.

— Потому-то вы более сильны, чем ловки. Вот он и сложен уже, этот костер, увидите, как он у меня не разгорится! Дайте-ка мне огонь и немного сухого вереска. Хорошо! Теперь дуйте; вы не слабогрудый.

— Я по крайней мере этого за собою не знаю, — сказал Жермен и стал дуть, как кузнечный мех.

Через мгновение заблестело пламя, оно бросало сначала красноватый отсвет, но потом поднялось синеватыми языками под листву дубов, борясь с туманом и высушивая понемногу воздух на десять футов в окружности.

— Теперь я сяду рядом с маленьким, чтобы на него не падали искры, — сказала молодая девушка. — Жермен! Мы не получим ни лихорадки, ни насморка, отвечаю вам за это.

— Честное слово, ты умная девушка, — сказал Жермен, — и ты умеешь разжигать огонь, как маленькая ночная колдунья. Я чувствую, что я совсем оживаю и прибадриваюсь; тогда как с мокрыми по колено ногами и с мыслью, что здесь придется оставаться до рассвета, я

только что был в очень дурном настроении.

— А когда бываешь в дурном настроении, то ничего и не выдумашь, — возразила маленькая Мари.

— А ты никогда не бываешь в дурном настроении?

— О, нет! Никогда. А для чего?

— Ну, конечно, это ни для чего не нужно; но как этому помешать, когда есть неприятности? Бог знает, однако, что и ты их не была лишена, моя бедная малютка; ведь ты не всегда была счастлива.

— Это верно, мы много страдали, бедная моя мать и я. У нас бывало горе, но мы никогда не теряли мужества.

— Я не терял мужества ни при какой работе, — сказал Жермен, — но нужда меня раздражала бы, так как я никогда ни в чем не нуждался. Моя жена сделала меня богатым, и я им остаюсь и посейчас; и я буду богат, пока буду работать на хуторе; это будет всегда, надеюсь; но у каждого должно быть свое горе! Я страдаю иначе.

— Да, вы потеряли вашу жену, и это ужасно жалко!

Правда.

— О, я очень ее оплакивала, Жермен! ведь она была такая добрая! Знаете, не будем больше о ней говорить; а то я опять о ней заплачу, все мои горести хотят ко мне вернуться сегодня.

— Это правда, она очень тебя любила, маленькая Мари! Она очень высоко ценила тебя и твою мать. Полно! ты плачешь. Послушай, дочка, я не хочу плакать, я...

— И вы однако плачете, Жермен! Вы тоже плачете! Разве может быть стыдно человеку оплакивать свою жену. Не стесняйтесь, полно! Я разделяю наполовину с вами это горе.

— У тебя доброе сердце, Мари, и мне хорошо плакать с тобой. Но приблизь же свои ноги к огню; твои юбки тоже совсем мокры, бедная девочка! Послушай, я сяду вместо тебя к мальчику, а ты погрейся получше.

— Мне достаточно тепло, — сказала Мари, — и если вы хотите сесть, возьмите кончик плаща, а мне очень хорошо.

— В самом деле здесь недурно, — сказал Жермен, садясь совсем близко от нее. — Один только голод меня немного мучает. Вероятно, уже часов девять, и мне было так трудно идти по этим скверным дорогам, что я чувствую себя совершенно ослабевшим. А ты разве тоже не голодна, Мари?

— Я — нисколько. Я не привыкла, как вы, есть четыре раза в день, и я столько раз ложилась спать без ужина, что один лишний раз меня не удивляет.

— Ну, что же! это удобно — такая жена, как ты; не нужно много расходов, — сказал Жермен, улыбаясь.

— Я не жена, — сказала простодушно Мари, не замечая того, какой оборот принимали мысли крестьянина. — Что вы, бредите?

— Да, кажется, — ответил Жермен, — может быть, я и брежу от голода!

— Какой вы обжора! — возразила она, немного развеселившись, — ну, что же, если вы не можете прожить пять или шесть часов без еды, разве нет у вас дичи в мешке и огня, чтобы ее приготовить?

— А, чорт возьми! это хорошая мысль! Но как же быть с подарком моему будущему тестю?

— У вас шесть куропаток и заяц! Я думаю, вам столько не нужно, чтобы насытиться.

— Но если это делать без вертела и без тагана, все обратится в уголь.

— Да нет же, — сказала маленькая Мари, — я берусь испечь это под золой и ничуть не

продымить. Разве вы никогда не ловили в полях жаворонков и не пекли их между двумя камнями? Ах, я и забыла, ведь вы никогда не были пастухом! Ну вот, ошиплите эту куропатку! Не так сильно! вы ей обдираете кожу!

— Ты могла бы ошипать другую, чтобы мне показать!

— Значит, вы хотите съесть целых две. Какой вы обжора! Ну, вот они и ошипаны. Я буду их печь.

— Ты была бы прекрасная маркитантка, маленькая Мари, но, к несчастью, у тебя нет погребца, и мне придется пить воду из этого болота.

— Вам, наверное, хотелось бы вина, не так ли? может быть еще кофе? Вы думаете, что вы на ярмарке, в беседке! Позовите трактирщика: ликера искусному пахарю из Белэра!

— Ах! маленькая злодейка, вы смеетесь надо мной. А разве вы сами не выпили бы вина, если бы оно у вас было?

— Я, я выпила сегодня вечером, с вами, у Ревекки, во второй раз в жизни; но, если вы будете благоразумны, я дам вам вина, почти бутылку и еще очень хорошего!

— Как, Мари, ты, значит, действительно колдунья!

— Разве вы не имели глупости спросить целых две бутылки вина у Ревекки? Вы выпили с вашим маленьким одну, а я едва проглотила три капли из той, которую вы поставили передо мною. А вы, не посмотрев, заплатили за обе.

— Ну, и что же?

— Ну, вот я и положила ту, которая не была выпита, в свою корзинку, так как подумала, что вы или ваш мальчик захотите пить в дороге; и вот она.

— Ты самая догадливая девушка, какую я когда-либо встречал. Подумайте! и она еще плакала, это бедное дитя, когда выходила из трактира, и это не помешало ей подумать больше о других, чем о себе. Маленькая Мари, человек, который на тебе женится, не будет дураком!

— Надеюсь, так как я не люблю дурака. Ну, кушайте ваших куропаток, они совсем испеклись, а за неимением хлеба вам придется удовольствоваться каштанами.

— Где же, чорт возьми, достала ты еще и каштанов?

— Удивительное дело! в продолжение всей дороги я снимала их мимоходом с веток, и набила ими карманы.

— И они также испечены?

— А для чего у меня был бы ум, если бы я их не положила на огонь, как только мы его разожгли? Так всегда делается в полях.

— Ну вот, маленькая Мари, мы будем ужинать вместе! Я хочу выпить за твое здоровье и пожелать тебе хорошего мужа... Ну, какого бы ты пожелала себе сама, расскажи-ка мне об этом немножечко!

— Это очень мне трудно, Жермен, так как я еще совсем об этом не думала.

— Как, совсем не думала, никогда? — сказал Жермен, начиная есть с аппетитом землепашца, но отрезая лучшие куски, чтобы предложить их своей спутнице, которая наотрез от них отказалась и удовольствовалась лишь несколькими каштанами. — Скажи-ка, мне, маленькая Мари, — сказал он, видя, что она и не думает ему отвечать, — ты никогда еще не думала о браке? Ты уже в таких годах, однако!

— Может быть, — сказала она, — но я чересчур бедна. Нужно собрать по крайней мере сто экю, чтобы устроить хозяйство, и я должна работать пять или шесть лет, чтобы их собрать.

— Бедная девушка! А я бы хотел, чтобы дядя Морис дал мне сто экю, чтобы тебе их подарить.

— Большое спасибо, Жермен. А что бы тогда сказали про меня?

— А что могли бы сказать? Все прекрасно знают, что я стар и не могу на тебе жениться. И никто бы не подумал, что я... что ты...

— Послушайте-ка, пахарь! вот ваш ребенок просыпается, — сказала маленькая Мари.

IX

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

Малютка-Пьер приподнялся и с задумчивым видом стал смотреть вокруг себя.

— Ах, это всегда с ним так бывает, когда он слышит, что едят, сказал Жермен. — Грохот пушки не разбудил бы его; но когда двигают челюстями, он сейчас же раскрывает глаза.

— А вы, наверное, были такой же в его годы, — сказала маленькая Мари с чуть насмешливой улыбкой. — Ну, что, мой маленький Пьер, ты ищешь полог своей кровати? Он сегодня из листьев, дитя мое; но твой отец однако же отлично ужинает. Не хочешь ли ты поужинать с ним? Я не съела твою долю; я так и думала, что ты еще потребуешь.

— Мари, я хочу, чтобы ты ела! — воскликнул землепашец, — я больше есть не буду. Я обжора, я грубиян; ты лишаешь себя из-за нас, это несправедливо, я стыжусь этого. Знаешь, это отбивает у меня аппетит; я не хочу, чтобы мой сын ужинал, если ты не будешь ужинать.

— Оставьте нас в покое, — ответила маленькая Мари, — у вас нет ключа от наших appetitов. Мой заперт на сегодня, но аппетит вашего Пьера открыт, как у маленького волка. Поглядите, как он принялся! О, это будет тоже замечательный пахарь!

Действительно, Малютка-Пьер скоро показал, чей он был сын, и, едва проснувшись, не понимая, где он и как сюда попал, он принялся пожирать с великою жадностью.

Затем, когда голод его прошел, он почувствовал себя возбужденным, как это часто бывает с детьми, когда нарушают их привычки, и проявил больше ума, любопытства и здравого смысла, чем обыкновенно. Он заставил себе объяснить, где он находился, и когда узнал, что в лесу, то немного испугался:

— Есть ли злые звери в этом лесу? — спросил он у своего отца.

— Нет, — сказал отец, — их тут нет. Не бойся ничего.

— Значит, ты мне наврал, когда говорил, что если я поеду с тобой в большие леса, то меня унесут волки?

— Поглядите-ка на этого разумника! — сказал Жермен в замешательстве.

— Он прав, — возразила маленькая Мари, — вы ему это сказали, у него хорошая память, и он это помнит. Но узнай, маленький мой Пьер, что твой отец никогда не лжет. Мы проехали большие леса когда ты спал, и теперь мы в маленьких лесах, где нет злых зверей.

— А маленькие леса очень далеко от больших?

— Довольно далеко; кроме того волки не выходят из больших лесов. Да если бы они и пришли сюда, твой отец их бы убил.

— И ты тоже, маленькая Мари?

— И мы тоже, ведь ты бы нам помогал, мой Пьер. Ты не боишься? Ты хорошо бы их бил!

— Да, да, — сказал ребенок, возгордившись и принимая геройскую позу, — мы бы их убили!

— Никто не умеет так хорошо говорить с детьми и убеждать их, как ты, — сказал Жермен маленькой Мари. — Правда, ты и сама еще недавно был маленьким ребенком, и ты помнишь, что тебе говорила твоя мать. Я думаю, что, чем моложе, тем лучше понимаешь детей. Я очень боюсь, что тридцатилетняя женщина, да еще не знающая, что такое быть матерью, с трудом научится болтать и рассуждать с маленькими.

— Но почему бы и нет, Жермен? Я не знаю, почему у вас появились дурные мысли относительно этой женщины; это у вас пройдет.

— Ах, к чорту эту женщину! — сказал Жермен. — Я хотел бы уже оттуда вернуться,

чтобы туда никогда не возвращаться. На что мне жена, которую я не знаю?

— Мой маленький папочка, — сказал ребенок, — почему ты все говоришь сегодня про твою жену, — ведь она умерла!..

— Увы! так ты ее не забыл, ты, твою бедную, дорогую мать?

— Нет, ведь я видал, как ее положили в красивую коробку из белого дерева, и моя бабушка подвела меня к ней, чтобы поцеловать ее и проститься с ней!.. Она была вся белая и холодная, и каждый вечер тетя заставляет меня молиться за нее богу, чтобы она пошла погреться с ним на небо. Как ты думаешь, она там теперь?

— Я надеюсь, дитя мое; но нужно молиться всегда, это показывает твоей матери, что ты ее любишь.

— Я сейчас прочту мою молитву, — возразил ребенок, — я и не подумал ее прочитать сегодня вечером. Но я не могу прочитать один; я всегда немножко забываю. Пусть маленькая Мари мне поможет.

— Да, мой Пьер, я тебе помогу, — сказала молодая девушка. — Поди сюда, стань на колени.

Ребенок стал на колени на юбку молодой девушки, сложил маленькие ручки и начал читать свою молитву, сначала со вниманием и с усердием, так как прекрасно знал начало; затем с замедлением и колебанием и, наконец, повторяя слово за словом, что ему говорила маленькая Мари, когда он дошел до того места своей молитвы, где сон обыкновенно одолевал его каждый вечер, и он не мог потому выучить ее до конца.

На этот раз опять работа внимания произвела свое обычное действие; он лишь с усилием произнес последние слоги, да и то только тогда, когда их повторили ему три раза; его голова отяжелела и склонилась на грудь Мари; руки ослабели, разъединились и упали на колени.

При свете костра Жермен посмотрел на своего маленького ангела, заснувшего на сердце молодой девушки, которая, поддерживая его руками и согревая его белокурые волосы своим чистым дыханием, отдалась тоже благочестивой задумчивости и мысленно молилась за душу Катерины.

Жермен был растроган, он стал искать, как ему выразить маленькой Мари то уважение и благодарность, какие она ему внушала, но не нашел ничего, чтобы передать свою мысль.

Он приблизился к ней, чтобы поцеловать сына, которого она все еще держала у своей груди, и с трудом оторвал губы от лба маленького Пьера.

— Вы его слишком сильно целуете, — сказала ему Мари, тихонько отталкивая голову пахаря, — вы его разбудите. Дайте я его уложу, раз он опять улетел в райские свои сновидения.

Ребенок дал себя уложить, но, вытягиваясь на козьей шкуре седла, он опросил, не на Серке ли он. Затем, открыв свои большие голубые глаза и устремив их на минуту на ветки, он, казалось, стал грезить наяву или был поражен мыслью, которая, днем закравшись в его ум, определилась в нем с приближением сна.

— Мой маленький папочка, — сказал он, — если ты хочешь мне дать другую мать, я хочу, чтобы это была маленькая Мари.

И, не дожидаясь ответа, он закрыл глаза и заснул.

Х НЕСМОТРЯ НА ХОЛОД

Маленькая Мари не обратила особого внимания на странные слова ребенка и приняла их просто, как доказательство его привязанности; она заботливо его завернула, подкинула в огонь хвороста, и так как туман, заснувший на соседнем болоте, и не думал рассеиваться, она посоветовала Жермену устроиться у огня и немножко заснуть.

— Я вижу, что вас уже клонят ко сну, — сказала она ему, — вы ничего не говорите и смотрите на огонь совсем так, как делал это только что ваш маленький. Поспите, а я постерегу ребенка и вас.

— Ты будешь спать, — ответил хлебопашец, — а я буду стеречь вас обоих, никогда еще мне не хотелось меньше спать, чем сейчас; у меня пятьдесят мыслей в голове.

— Пятьдесят, это много, — сказала девчурка с некоторой насмешкой, — многие люди были бы счастливы иметь хоть одну!

— Ну, что же! если я не способен иметь их пятьдесят, у меня, по крайней мере, есть одна, которая меня не оставляет уже целый час.

— Я вам ее скажу, а также и ту, которая была у вас раньше.

— Ну, скажи, если ты отгадала ее, Мари; скажи ее сама, мне это доставит удовольствие.

— Час тому назад, — возразила она, — у вас была мысль поесть... а теперь у вас мысль поспать.

— Мари, я всего только погонщик быков, но ты меня самого принимаешь за быка. Ты злая девушка, я вижу, что ты не хочешь со мной разговаривать. Тогда спи, это будет лучше, чем осуждать человека, которому и так невесело.

— Если вы хотите разговаривать, поговорим, — сказала девочка и прилегла к ребенку, положив свою голову на седло. — Вы хотите себя мучить, Жермен, и этим проявляете недостаточно мужества для мужчины. Чего бы только я не наговорила, если бы я не защищалась всеми силами от своего собственного горя.

— Да, конечно, и именно это меня беспокоит, бедное мое дитя! Ты будешь жить вдали от твоих родных в пустынной, болотистой местности, где ты получишь осеннюю лихорадку и где шерстоносные животные плохо выращиваются, что всегда огорчает добросовестную пастушку; наконец, ты будешь среди чужих людей, которые, может быть, не будут добры с тобой, не поймут того, чего ты стоишь. Знаешь, меня это огорчает больше, чем я могу тебе это высказать, и мне хочется отвести тебя назад к твоей матери вместо того, чтобы идти в Фурш.

— Вы говорите с большой добротой, но без всякой рассудительности, мой бедный Жермен; не нужно трусить за своих друзей, и вместо того, чтобы указывать мне на темные стороны моей участи, вы должны были бы мне указать на ее хорошие стороны, как вы сделали это, когда мы были у Ревекки.

— Что же делать! тогда мне это казалось таким, теперь иначе. Ты бы лучше нашла себе мужа.

— Это невозможно, Жермен, я вам это сказала, а так как это невозможно, я об этом и не думаю.

— Но если бы он нашелся. Может, если бы ты мне сказала, какого бы мужа ты хотела, я кого-нибудь и придумал бы для тебя.

— Придумать — не значит найти. Я ничего себе не придумываю, раз это бесполезно.

— Тебе не хотелось бы найти богатого?

— Нет, конечно, раз я сама бедна, как Иов.

— Но если бы он был с достатком, тебя не огорчило бы иметь хорошее жилище, хорошо есть, быть хорошо одетой и жить в хорошей семье, которая разрешила бы тебе помогать твоей матери?

— О да, конечно, да, помогать матери — это главное мое желание.

— Ну, а если бы ты все это встретила, но мужчина был бы не первой молодости, ты не была бы чересчур разборчива?

— Ах, извините меня, Жермен. Именно насчет этого я требовательна. Я не хотела бы старого!

— Старого, конечно; но, например, мужчина моих лет?

— Ваши лета для меня чересчур большие, Жермен: я хотела бы таких лет, как Бастиан, хотя Бастиан и не такой красивый мужчина, как вы.

— Ты хотела бы лучше Бастиана-свинопаса, — сказал Жермен, рассердившись. — У этого малого глаза, как у животных, которых он стережет.

— Я не обратила бы внимания на его глаза из-за его восемнадцати лет.

Жермен почувствовал ужасную ревность.

— Ну, — сказал он, — я вижу, ты крепко придерживаешься Бастиана. А ведь мало сказать, что это смешно!

— Да, это была бы смешная мысль, — ответила маленькая Мари, громко рассмеявшись, — и он был бы смешным мужем. Его можно заставить поверить во что угодно. Например, на днях я подобрала помидор в саду господина кюрэ и сказала ему, что это хорошее красное яблоко, и он куснул его, как настоящий обжора. Если бы вы видели его гримасу! Боже мой, какой он был отвратительный!



— Ты насмехаешься над ним, значит, не любишь его.

— Ну, это бы еще ничего. Но я не люблю его: он груб со своей маленькой сестрой, и он нечистоплотен.

— Так! А ты не чувствуешь склонности к кому-нибудь другому?

— А что вам-то до этого, Жермен?

— Да ровно ничего, просто так, для разговора. Я вижу, девочка, что у тебя уже сидит какой-нибудь любезник в голове.

— Нет, Жермен, вы ошибаетесь, у меня еще никого нет; это может притти позднее; но так как я выйду замуж, лишь когда немного скоплю, значит, мне суждено выйти поздно и за старого.

— Тогда возьми старого теперь же.

— Ну нет, когда я не буду молода, мне это будет безразлично, а теперь другое дело.

— Я хорошо вижу, Мари, что я тебе не нравлюсь, это совершенно ясно, — сказал Жермен с досадой и не взвешивая своих слов.

Маленькая Мари ничего не ответила.

Жермен наклонился к ней: она спала; она упала, будто была побеждена и сражена сном,

как дети, которые уже спят, хотя еще болтают.

Жермен был доволен, что она не обратила внимания на его последние слова; он сознавал теперь, что они не были благоразумны, и он повернулся к ней спиной, чтобы рассеяться и переменить свои мысли.

Но, несмотря на все старания, он не мог уснуть, не мог и думать о чем-либо другом, кроме того, о чем он только что говорил. Он двадцать раз обходил вокруг огня, отходил, возвращался обратно; наконец, чувствуя себя таким возбужденным, будто проглотил пороха, он облокотился на дерево, которое защищало обоих детей, и посмотрел, как они спали.

«Я не знаю, как это никогда я не замечал, — думал он, — что эта маленькая Мари у нас самая хорошенькая девушка... У нее нет ярких красок, но у ней маленькое свежее личико, как дикая роза! Какой миленький ротик и славный маленький носик... Она не велика для своих лет, но сложена, как перепелочка, и легка, как маленький зяблик!.. Я не знаю, почему у нас так ценят женщин высоких и толстых и очень румяных... Моя жена была скорее тонка и бледна; и она мне нравилась больше всех... Эта очень нежна, но от этого не хуже здоровьем, и она такая хорошенькая, как беленький козленок!.. И какой у нее кроткий и честный вид! Ее доброе сердце читается в ее глазах, даже когда они закрыты. Что же касается ума, у ней его больше, чем у моей дорогой Катерины, в этом нужно сознаться, и с ней не соскучишься... Она весела, умна, трудолюбива, умеет любить и забавна... Я не знаю, чего можно было бы еще пожелать лучшего...

Но какое мне дело до всего этого, — продолжал Жермен, стараясь смотреть в другую сторону. — Мой тесть не захочет об этом и слушать, и вся семья будет считать меня за сумасшедшего!.. Да, кроме того, она и сама не захочет меня, бедное дитя!.. Она находит меня чересчур старым: она сказала мне это... Она совсем не корыстна, она не беспокоится о том, что будет еще нуждаться, носить плохую одежду, терпеть голод два или три месяца в году, только бы ей удовлетворить когда-нибудь свое сердце и отдаться мужу, который ей понравится... Она права, она!.. я сделал бы так же на ее месте... и в настоящее время, если бы я мог следовать своему желанию, вместо того, чтобы связывать себя браком, который мне совсем не улыбается, я выбрал бы девушку по своему вкусу...»

Чем больше Жермен старался рассуждать и успокоить себя, тем менее это ему удавалось. Он уходил на двадцать шагов отсюда, чтобы укрыться в тумане; и внезапно оказывался на коленях рядом с обоими спящими детьми. Один раз даже он захотел поцеловать маленького Пьера, который одной рукой обнял Мари за шею, и так хорошо ошибся, что Мари, почувствовав горячее, как огонь, дыхание, пробежавшее по ее губам, проснулась и посмотрела на него с совершенно растерянным видом, не понимая ничего из того, что в нем происходило.

— Я не разглядел вас, мои бедные дети! — сказал Жермен, поспешно отстраняясь. — Я чуть не упал на вас и чуть не сделал вам больно.

Маленькая Мари была так непорочна, что в это поверила и снова уснула.

Жермен перешел по другую сторону костра и дал клятву богу, что не двинется оттуда, пока она не проснется. Он сдержал свое слово, но не без труда, и думал, что прямо сойдет с ума от всего этого.

Наконец, к полуночи туман рассеялся, и Жермен мог увидеть звезды, блестевшие сквозь деревья. Луна тоже освободилась от паров, закрывавших ее, и принялась сеять бриллианты на сырой мох. Стволы дубов оставались в величавой темноте; но белые стволы берез, немного поодаль, казались рядом призраков в саванах. Огонь отражался в болоте, и лягушки, начавшие к нему привыкать, отважились на несколько тонких и робких нот; угловатые ветви старых деревьев, взъерошенные бледным лишайником, сплетались и перекрещивались над

головами наших путешественников, как большие иссохшие руки; это было красивое место, но такое пустынное и печальное, что Жермен, утомившись страдать, принялся петь и бросать камни в воздух, чтобы забыться от ужасающей скуки одиночества. Ему также хотелось разбудить маленькую Мари; и когда он увидел, что она поднялась и соображала, который может быть час, он предложил ей возобновить их путь.

— Часа через два, — сказал он ей, — перед рассветом станет так холодно, что мы не сможем здесь больше выдержать, несмотря на наш огонь... Теперь уже стало видно, и мы найдем дом, где нам откроют, или какую-нибудь ригу, где можно будет укрыться на остаток ночи.

У Мари не было своей воли, и, хотя ей еще страшно хотелось спать, она приготовилась следовать за Жерменом.

Тот взял своего сына на руки, не разбудив его, и предложил Мари, чтобы она приблизилась к нему и прикрылась его плащом, так как она не захотела взять свой, в котором был завернут маленький Пьер.

Почувствовав девушку так близко от себя, Жермен, который было немного рассеялся и повеселел, снова начал терять голову. Два или три раза он резко отдалялся от нее и оставлял ее идти одну. Затем, видя, что ей трудно за ним поспевать, он ее поджидал, быстро привлекал к себе и прижимал так сильно, что она удивлялась и даже сердилась, но не смела ничего сказать.

Так как они совсем не представляли себе, откуда они вышли, то не знали также, в каком направлении они идут и сейчас; таким образом, они обошли еще раз весь лес и, очутившись снова перед пустошью, повернули обратно; покружась и пройдя еще долгое время, они заметили через ветки свет.

— Хорошо! Вот и какой-то дом, — сказал Жермен, — и люди уже проснулись, раз горит огонь. Верно, очень поздно.

Но это не был дом; это был их костер, который они забросили, уходя, и который разгорелся снова от ветра.

Так проходили они два часа, чтобы снова очутиться там, откуда вышли.

ХІ

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

— Ну, наконец, я отказываюсь! — сказал Жермен, топнув ногой. — Нас наверняка сглазили, и мы выйдем отсюда, только когда будет совсем светло. В этом месте, наверное, водится чертовщина.

— Полно, полно, не нужно сердиться, — сказала Мари, — подумаем, что нам теперь делать. Мы разведем костер побольше, ребенок так хорошо закутан, что он ничем не рискует, а мы не умрем от того, что проведем ночь на воздухе. Куда вы спрятали седло, Жермен? В остролистник, ветреная вы голова! Очень удобно будет его оттуда доставать!

— Возьми-ка, поддержи ребенка, я вытащу его постель из кустарника; я не хочу, чтобы ты уколола себе руки.

— Уже готово, вот постель, а несколько укулов — это не удары саблей, возразила мужественная девочка.

Она приступила опять к укладыванию маленького Пьера, который на этот раз так крепко спал, что совсем не заметил этого нового путешествия. Жермен подложил столько дров, что весь лес засверкал кругом; но маленькая Мари совсем изнемогла и хотя не жаловалась, но едва стояла на ногах. Она была бледна, и зубы ее стучали от холода и слабости. Чтобы согреть ее, Жермен взял ее на руки; беспокойство, сочувствие, непреодолимая нежность овладели его сердцем и заставили замолчать его чувственность. Его язык развязался, как от чуда, и всякое смущение прошло.

— Мари, — сказал он ей, — ты мне нравишься, и я очень несчастлив, что не нравлюсь тебе. Если бы ты согласилась, чтобы я был твоим мужем, то никакой тесть, никакие родные, соседи, ни советы их не могли бы помешать мне отдаться тебе. Я знаю, что ты сделала бы моих детей счастливыми, научила бы их уважать память их матери, и моя совесть была бы спокойна, я мог бы удовлетворить свое сердце. Я всегда чувствовал привязанность к тебе, а теперь я чувствую себя до такой степени влюбленным, что, если бы ты меня попросила исполнять всю мою жизнь все твои желания, я поклялся бы тебе в этом тотчас же. Видишь, как я тебя люблю, и постарайся забыть мои годы. Подумай только, ведь это неверная мысль, когда говорят, что тридцатилетний мужчина уже стар. Да к тому же мне всего двадцать восемь лет! Молодая девушка боится, что ее будут осуждать, если она возьмет мужчину на десять или на двенадцать лет старше ее, потому что это не в обычае наших мест, но я слышал, что в других местах на это не обращают внимания; и даже наоборот, предпочитают давать юной девушке, как поддержку, благоразумного и испытанного человека, вместо молодого парня, который может всегда свихнуться и из хорошего малого, каким его считали, стать негодным повесой. К тому же годы не всегда определяют возраст. Это зависит от силы и от здоровья. Когда человек изнурен чересчур большой работой и нищетой или дурным поведением, он стар еще до двадцати пяти лет. Тогда как я... Но ты не слушаешь меня, Мари!

— Да нет же, Жермен, я очень хорошо вас слушаю, — ответила маленькая Мари, — но я думаю о том, что мне всегда говорила моя мать: женщина шестидесяти лет достойна сожаления, когда ее мужу семьдесят или семьдесят пять и он не может больше работать, чтобы ее прокормить. Он делается дряхлым, и ей нужно ухаживать за ним в те годы, когда ей самой становится необходимым беречь себя и отдыхать. Так-то вот и кончают свои дни на соломе.

— Родители правы, когда так говорят, и я это признаю, Мари, — возразил Жермен, — но

они готовы пожертвовать лучшею порою жизни — всею молодостью — лишь для того, чтобы предвидеть, что будет в те годы, когда уже негоден ни на что и совершенно безразлично, каким образом кончить свою жизнь. Но мне не грозит умереть с голоду в старости. И я даже могу кое-что скопить себе, так как, живя с родителями моей жены, я работаю много, но ничего не трачу. К тому же, я, видишь ли, буду так тебя любить, что это помешает мне состариться. Говорят, когда человек счастлив, он отлично сохраняется, а я хорошо чувствую, что в своей любви к тебе я моложе Бастиана, так как он не любит тебя, и он чересчур глуп, чересчур ребенок, чтобы понять, какая ты хорошенькая и добрая и как тебя нужно помогать. Полно, Мари, не нужно меня ненавидеть, я не злой человек; я сделал свою Катерину счастливой, и она сказала перед богом, на смертном одре, что видела от меня только одно хорошее, и она советовала мне опять жениться. Кажется, что ее дух говорил сегодня вечером с ее ребенком, когда он засыпал. Разве ты не слышала, что он сказал? — и как дрожал его маленький ротик в то время, как глаза его смотрели на что-то, чего мы не могли видеть. Он видел свою мать, будь в этом уверена, и это она заставляла его говорить, что он хочет, чтобы ты ее заменила.

— Жермен, — ответила Мари, очень пораженная и глубоко задумавшись. — Вы говорите честно, и все то, что вы говорите, правда. Я уверена, что, полюбив вас, я поступила бы хорошо, если бы это только не очень рассердило ваших родителей; но как мне быть? сердце мое не лежит к вам. Я очень вас люблю, и хотя ваш возраст вас и не безобразит, но он меня пугает. Мне кажется, что вы для меня скорее как дядя или крестный, что я должна вас уважать и что будут минуты, когда вы меня будете считать скорее за девочку, чем за свою жену и ровню. Наконец, мои товарищи, пожалуй, смеялись бы надо мной, и хотя глупо на это обращать внимание, но я думаю, что мне было бы стыдно и немного грустно в день моей свадьбы.

— Это детские рассуждения; ты говоришь совсем как ребенок, Мари.

— Ну и что же! Да я и есть ребенок и потому-то и боюсь слишком рассудительного человека. Вы хорошо видите, что я чересчур молода для вас, раз вы уже меня упрекаете в том, что я говорю не довольно разумно. Я не могу иметь больше рассудка, чем это полагается в мои годы.

— Увы! боже мой, меня можно пожалеть, что я так неловок и так плохо умею сказать то, что думаю, — воскликнул Жермен. — Вы меня не любите, Мари, вот главное; вы находите меня чересчур простым и тяжелым. Если бы вы меня немного любили, вы не видели бы так ясно моих недостатков. Но вы меня не любите, вот в чем дело!

— Ну так что ж! Это не моя вина, — ответила она, немного задетая тем, что он перестал называть ее на ты, — я делаю все возможное, слушая вас, но чем больше я стараюсь, тем меньше я могу вложить себе в голову, что мы должны быть мужем и женой.

Жермен ничего не ответил. Он закрыл лицо руками, маленькой Мари было невозможно узнать, плачет ли он, сердится ли, или заснул. Она была немного обеспокоена, что он был такой пасмурный, и она не могла догадаться, что бродило у него на уме; но она не посмела с ним больше говорить, и так как она была чересчур удивлена всем тем, что произошло, чтобы опять заснуть, она стала с нетерпением ждать рассвета, поддерживая огонь и наблюдая за ребенком, которого Жермен, казалось, совсем забыл. Однако же Жермен не спал; он не размышлял о своей судьбе и не строил никаких планов, ни как ему приободриться, ни как понравиться Мари. Он страдал, у него была целая гора печалей на сердце. Ему хотелось бы умереть. Все, казалось, скверно должно было повернуться для него, и если бы он мог плакать, то сделал бы это не наполовину. Но к горю его примешивалась и некоторая злость против самого себя, и он задыхался, но не мог и не хотел жаловаться.

Когда наступил день и звуки деревенской природы возвестили об этом Жермена, он открыл свое лицо и встал. Он увидел, что маленькая Мари тоже не спала, но он ничего не сумел ей сказать, чтобы проявить свое участие. Он совершенно пал духом. Он опять спрятал седло Серки в кусты, взвалил свой мешок на плечо и взял сына за руку.

— Теперь, Мари, — сказал он, — мы постараемся закончить наше путешествие. Хочешь, я тебя отведу в Ормо?

— Мы выйдем вместе из леса, — ответила она ему, — и, когда мы будем знать, где мы, каждый из нас пойдет в свою сторону.

Жермен ничего не ответил. Он был обижен, что девушка не попросила проводить ее до Ормо, и он не замечал, что предложил это таким тоном, который вызывал на отказ.

Дровосек, которого они встретили шагов через двести, указал на правильный путь и прибавил, что, пройдя большой луг, они должны будут пойти — один прямо, другой налево, чтобы достичь до тех мест, куда они направлялись; впрочем, они были так близко друг от друга, дома Фурша были ясно видны из Ормо и обратно.

Затем, когда они поблагодарили дровосека и ушли от него, он позвал их опять и спросил, не потеряли ли они лошади.

— Я нашел, — сказал он, — прекрасную серую кобылу на дворе у себя, туда забежала она, быть может спасаясь от волка. Мои собаки лаяли всю ночь, и на рассвете я увидел лошадь у себя под носом; она там до сих пор. Пойдемте, и если вы ее узнаете, берите.

Жермен тотчас же сообщил все приметы Серки и, убедившись, что дело шло именно о ней, пустился в путь за своим седлом. Тогда маленькая Мари предложила ему отвести его ребенка в Ормо, куда он придет за ним, побывавши в Фурше.

— Он немного грязноват после проведенной нами ночи, — сказала она. — Я вычищу его платье, помою его хорошенькую мордочку, причешу, и, когда он будет совсем хорош и станет настоящим молодцом, вы можете представить его своей новой семье.

— А кто тебе сказал, что я хочу итти в Фурш? — ответил Жермен с досадой. — Может, я туда и не пойду.

— Нет, Жермен, вы должны туда итти, и вы пойдете, — возразила молодая девушка.

— Ты очень торопишься, чтобы я женился поскорей на другой, тебе хочется, чтобы я больше тебе не надоедал.

— Полно, Жермен, не думайте больше об этом; эта мысль пришла к вам ночью, потому что это несчастное приключение немного расстроило ваш рассудок. Но теперь нужно, чтобы разум к вам вернулся; я вам обещаю забыть то, что вы мне сказали, и никогда об этом никому не говорить.

— Да говори, если хочешь. Я не имею привычки отказываться от своих слов. То, что я тебе сказал, было правдиво, честно, и я за это ни перед кем не покраснею.

— Да, но если бы ваша невеста узнала, что, когда вы ехали к ней, вы думали о другой, это дурно бы настроило ее к вам. Итак, следите за словами, которые вы будете говорить; не глядите на меня перед всеми с таким странным видом. Подумайте о дяде Морисе, который рассчитывает на вашу покорность и очень бы рассердился на меня, если бы я помешала вам исполнить его волю. До свиданья, Жермен, я увожу маленького Пьера, чтобы заставить вас итти в Фурш. Это будет залогом от вас.

— Ты, значит, хочешь итти с ней? — сказал земледелец, увидав, что сын схватился за руку Мари и решительно за нею последовал.

— Да, отец, — ответил ребенок, который слушал и понял на свой лад то, что говорили совершенно открыто при нем. — Я уйду с моей миленькой Мари; ты придешь за мной, когда кончишь жениться, но я хочу, чтобы Мари осталась моей маленькой мамочкой.

— Ты видишь, что он этого хочет, он! — сказал Жермен молодой девушке. — Послушай, маленький Пьер, — прибавил он, — я-то очень желаю, чтобы она стала твоей матерью и осталась бы навсегда с тобой, но она этого не хочет. Постарайся, чтобы она дала тебе свое согласие на то, в чем она мне отказывает.

— Будь покоен, отец, я заставлю ее сказать да, маленькая Мари делает всегда, что я хочу.

Он удалился с молодой девушкой, Жермен остался один, более грустный и нерешительный, чем когда-либо.

XII

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЛЬВИЦА

Однако, когда он привел в порядок одежду свою и упряжь, когда он сел верхом на Серку, и ему указали дорогу в Фурш, он подумал, что отступать было нельзя, и нужно было забыть эту ночь волнений, как опасный сон.

Он нашел Леонара на пороге его белого дома, старик сидел на прекрасной деревянной скамье, выкрашенной в темнозеленый цвет. Шесть каменных ступеней, расположенных лестницей, указывали, что в доме был подвал. Стена сада и конопляника была оштукатурена известкой с песком. Это было прекрасное жилище; еще немного, и его можно было бы принять за дом буржуа.

Будущий тесть вышел навстречу Жермену и, расспросив его в продолжение пяти минут обо всей семье, прибавил фразу, предназначенную для того, чтобы вежливо спросить тех, кого встречаешь о цели их путешествия: *Так вы приехали сюда, чтобы здесь погулять?*

— Я приехал повидаться с вами, — ответил хлебопашец, — отдать вам эту дичь, как маленький подарок от моего тестя, и сказать вам, также от его имени, что вы знаете, с какими намерениями явился я к вам.

— Вот, вот! — сказал старик Леонар, смеясь и похлопывая себя по толстому животу, — вижу, понимаю, знаю! — И, подмигнув глазом, он прибавил: — Вы не один явились со своими приветствиями, молодой человек. Дома уже есть трое, которые ждут, как и вы. Я же никого не отсылаю и был бы в очень большом затруднении дать предпочтение кому-нибудь, все это хорошие партии. Однако из-за дяди Мориса и из-за качества земель, которые вы обрабатываете, я больше хотел бы, чтобы это были вы. Но моя дочь совершеннолетняя и хозяйка своего имущества; она поступает, как ей заблагорассудится. Войдите, познакомьтесь; желаю, чтобы вам достался счастливый номер!

Простите, извините, — ответил Жермен, очень удивленный, что находится сверхштатным там, где рассчитывал быть один. — Я не знал, что у вашей дочери уже несколько женихов, и пришел не для того, чтобы отбивать ее у других.

— Если вы думали, что из-за вашего запоздания моя дочь останется непричем, — сказал старик Леонар, не теряя своего хорошего расположения духа, — то вы жестоко ошиблись, молодой человек. Катерине есть чем притянуть женихов, и если у нее будет затруднение, то только в выборе. Это женщина, из-за которой действительно стоит поспорить.

И он подтолкнул Жермена с грубой веселостью: — Вот, Катерина, — воскликнул он, входя в дом, — и еще один!



Этот забавный, но грубый способ, которым его представили вдове в присутствии других вздыхателей, окончательно смутил и рассердил землепашца. Он почувствовал себя неловким и несколько минут не мог поднять глаз на прелестницу и ее двор.

Вдова Герен была хорошо сложена и довольно свежа. Но выражение ее лица и наряд сразу не понравились Жермену. Вид у нее был смелый и довольный собой, а ее чепчик, отделанный тройным рядом кружев, шелковый передник, косынка из черных блонд, — все это имело мало отношения к его представлению о степенной и уравновешенной вдове. Благодаря этой изысканности в одежде и ее развязным манерам он нашел ее старой и некрасивой, хотя она не была ни тем, ни другим. Он подумал, что такой хороший наряд и веселое обращение очень подошли бы к возрасту и тонкому уму маленькой Мари, а что эта вдова шутила тяжело и чересчур смело и не умела носить свои красивые наряды.

Три соискателя сидели за столом, заставленным всякими винами и мясными блюдами; все это так и стояло для них целое воскресное утро; старик Леонар любил похвастать своим богатством, а вдова тоже была не прочь показать свою посуду и обставить стол, как настоящая богатая женщина. Жермен, несмотря на всю свою простоту и доверчивость, наблюдал за всем с большой проницательностью, и в первый раз в жизни он держался при выпивке оборонительно. Старик Леонар заставил его сесть за стол вместе с его соперниками,

и сам, усевшись напротив него, старательно за ним ухаживал и вообще оказывал ему явное предпочтение. Дичь, несмотря на то, что Жермен потратил часть ее на самого себя, была все же обильным подарком и производила сильное впечатление. Вдова, казалось, была к этому чувствительна, а женихи посмотрели на этот подарок взглядом, полным презрения.

Жермен чувствовал себя плохо в этом обществе и ел без всякой охоты. Старик Леонар над ним за это подшучивал.

— Вы что-то очень печальны, — сказал он ему, — вы не в ладах с вашим стаканом. Не следует, чтобы любовь мешала вашему аппетиту, так как ухаживатель натошак не находит таких приятных слов, как тот, кто прояснил свои мысли маленьким глотком вина. Жермен был оскорблен предположением, что он уже влюблен, а жеманный вид вдовы, которая опустила глаза и улыбнулась, как человек вполне в себе уверенный, вызвал в нем желание отрицать это предположение; но он побоялся показаться неучтивым, улыбнулся и вооружился терпением.

Ухаживатели вдовы показались ему тремя грубиянами. Нужно было им быть очень богатыми, чтобы она могла допустить их притязания. Одному из них было более сорока лет, и он был почти так же толст, как старик Леонар; другой был кривой и так много пил, что совсем осовел; третий был молодым и довольно красивым малым, но он хотел блеснуть умом и говорил такие плоскости, что возбуждал жалость. Однако вдова смеялась, будто она восхищалась всеми этими глупостями, и это не служило доказательством ее вкуса. Жермен подумал сначала, что она в него влюблена; но вскоре он заметил, что его самого откровенно поощряли, только хотели, чтобы он больше разошелся сам. Но это заставило его почувствовать и показать себя еще более холодным и суровым.

Наступил час обедни, и все встали из-за стола, чтобы отправиться в церковь всем вместе. Нужно было идти до Мерса, добрых полмили отсюда; Жермен так устал, что очень хотел бы перед этим хоть немного выспаться, но пропустить обедню было не в его обыкновении, и он пустился в путь вместе с другими.

На дорогах было много народа, и вдова шла с гордым видом, сопровождаемая своими тремя ухаживателями; она шла под руку то с одним, то с другим, приосаниваясь и высоко неся голову. Она очень хотела бы показать и четвертого, но Жермен находил настолько смешным следовать таким образом, целою вереницей, за юбкой, на глазах у всех, что держался на значительном расстоянии, разговаривая со стариком Леонаром, и так сумел его развлечь и занять, что оба они не имели вида, будто принадлежат к этой компании.

XIII

ХОЗЯИН

Когда они дошли до деревни, вдова остановилась, чтобы их дождаться. Ей хотелось обязательно войти в церковь вместе со всеми своими, но Жермен не хотел доставить ей этого удовольствия; он оставил старика Леонара и подошел к некоторым своим знакомым, в церковь же вошел через другую дверь. Вдова очень на это досадовала.

После обедни она показалась, торжествующая, на лужайке, где были танцы, и начала танцевать со своими тремя влюбленными поочередно. Жермен смотрел на нее и нашел, что она танцевала хорошо, но с жеманством.

— Ну, — сказал Леонар, хлопая его по плечу, — вы не танцуете с моей дочерью. Вы что-то уж чересчур робки!

— Я не танцую с тех пор, как умерла моя жена, — ответил хлебопашец.

— Так что же! Вы же теперь ищете другую, траур кончился на сердце, как и на одежде.

— Не в том дело, дядя Леонар; к тому же я считаю себя слишком старым и не люблю танцев.

— Послушайте, — возразил Леонар, отводя его в уединенное место, — вас разобрала досада, когда вы пришли ко мне и увидели, что место уже окружено осаждающими, я вижу, что вы очень горды; но это неблагоразумно, молодой человек. Моя дочь привыкла, чтобы за ней ухаживали, особенно за эти два года, как кончился ее траур, и не ей итти к вам навстречу.

— Уже два года, как ваша дочь может выйти замуж, и она еще ни на ком не остановилась? — сказал Жермен.

— Она не хочет торопиться, и она права. Хотя у нее и веселый вид, и вам, наверное, кажется, что она не очень-то много размышляет, но у этой женщины много здравого смысла, и она прекрасно знает, что она делает.

— Вот этого-то мне и не кажется, — сказал Жермен простодушно, — потому что при ней три ухаживателя, и если бы она знала, чего хочет, она нашла бы, по крайней мере, что двое из них лишние, и попросила бы их оставаться у себя дома.

— Зачем же? Вы в этом ничего не понимаете, Жермен. Она не хочет ни старого, ни кривого, ни молодого, я почти в этом уверен; но если бы она их отослала, подумали бы, что она хочет остаться вдовой, и тогда никто бы больше и не пришел.

— Ах, так! Эти, значит, для вывески!

— Как вы говорите! Но что же тут плохого, если это как раз им подходит?

— У всякого свой вкус! — сказал Жермен.

— Я вижу, что это не ваш вкус. Но посмотрим, ведь можно сговориться: если предположить, что вас предпочтут, то можно оставить вам место.

— Да, если предположить! А в ожидании, пока это узнаешь, сколько времени нужно будет держать нос по ветру?

— Это, я думаю, зависит от вас, если вы умеете говорить и убеждать. До сих пор моя дочь прекрасно понимала, что лучшее время ее жизни будет то, пока за нею будут ухаживать, и она совсем не торопится сделаться служанкою одного мужчины, когда она может распоряжаться несколькими. И эта игра ей очень нравится, потому что она может забавляться; но если вы понравитесь ей больше, чем игра, тогда игра может прекратиться. Вам не нужно только падать духом. Возвращайтесь сюда каждое воскресенье, танцуйте с ней, дайте понять, что и вы становитесь в ряды искателей, и если вас найдут более любезным

и более воспитанным, чем другие, вам это в один прекрасный день, вероятно, скажут.

— Извините, дядя Леонар, ваша дочь имеет, конечно, право поступать, как она хочет, и я не имею права ее осуждать, но на ее месте я поступил бы иначе; я был бы откровеннее и не заставлял бы людей терять свое время, которое они, наверное, могут занять чем-нибудь лучшим, чем так вот вертеться вокруг женщины, которая смеется над ними. Но, конечно, если она находит в этом для себя развлечение и удовольствие, то это меня не касается. Мне нужно вам только что-то сказать, что немного смущает меня сегодня с утра, так как вы ошиблись в моих намерениях и не дали мне времени вам ответить; вот и выходит, что вы думаете то, чего совсем нет. Узнайте же, что я пришел сюда вовсе не с целью просить руки вашей дочери, но с тем, чтобы купить у вас пару волов, которых вы хотите вести на ярмарку на следующей неделе; мой тесть думает, что они подходят ему.

— Я понимаю, Жермен, — ответил Леонар очень спокойно: — вы переменили свое намерение, увидав мою дочь с ее ухаживателями. Это как вы хотите. Повидимому то, что притягивает одних, отталкивает других, и вы имеете право удалиться, раз вы еще ничего не говорили. Если вы, действительно, хотите купить моих волов, приходите на них посмотреть на пастбище; мы об этом потолкуем, и совершится ли эта сделка или не совершится, вы зайдете к нам пообедать перед тем, как отправляться обратно.

— Я не хочу вас беспокоить, — возразил Жермен, — у вас, может быть, есть тут дела; а мне немного скучно смотреть на эти танцы и ничего не делать. Я пойду поглядеть ваших волов и потом зайду к вам.

После этого Жермен скрылся и направился к лугам, где Леонар, действительно, издала показал ему часть своего стада. И Жермен подумал, что если он приведет старику Морису, который в самом деле собирался прикупить скотины, хорошую пару быков по умеренной цене, то его охотнее простят за то, что он добровольно не выполнил цели своего путешествия.

Он пошел быстро и вскоре очутился недалеко от Ормо. Он ощутил потребность пойти поцеловать своего сына и даже повидать маленькую Мари, хотя он и потерял всякую надежду и прогнал мысль, что он может ей быть обязанным своим счастьем. Все то, что он только что видел и слышал: эта кокетливая, пустая женщина, этот отец, одновременно хитрый и ограниченный, поощряющий свою дочь в ее тщеславных и бессовестных привычках, эта городская роскошь, которая казалась ему нарушением достоинства деревенских нравов, это время, потерянное на праздные и глупые слова, вся эта обстановка, такая отличная от его собственной, и особенно то глубокое недомогание, которое испытывает деревенский человек, когда нарушает свои трудовые привычки, скука и смущение, испытанные им в эти несколько часов, — все это возбудило в Жермене желание очутиться опять вместе со своим сыном и со своей маленькой соседкой. Если бы он даже и не был влюблен в эту последнюю, он все-таки пошел бы к ней, чтобы немного развлечься и перевести свои чувства в их обычную колею.

Но он тщетно смотрел на окрестные луга, он не нашел в них ни маленькую Мари, ни маленького Пьера, и однако же было как раз то время, когда пастух обычно бывает в полях. На одном из загонов было большое стадо, и он опросил мальчика, который его стерег, эти овцы — не с фермы ли они из Ормо?

— Да, — сказал ребенок.

— А вы их пасете? Но разве мальчики стерегут в ваших краях шерстоносных животных?

— Нет, я их стерегу только нынче, потому что пастушка ушла: она заболела.

— Но разве у вас нет новой пастушки, которая сегодня утром пришла?

— О, это верно! Но она тоже уже ушла.

— Как ушла? Разве с ней не было ребенка?

— Да, был: маленький мальчик, который плакал. Они оба ушли вместе, побыв часа два.

— Ушли, но куда?

— Должно быть, откуда пришли. Я их об этом не спрашивал.

— Но почему же они ушли? — сказал Жермен, все более и более беспокоясь.

— Ну, разве я это знаю.

— Может быть не сошлись в цене? Хотя об этом должны были условиться заранее.

— Я ничего не могу вам сказать. Я видел, как они пришли и ушли, вот и все.

Жермен направился к ферме и стал расспрашивать у арендаторов. Никто не мог ему объяснять, в чем дело; но было достоверно одно, что, поговоривши с фермером, молодая девушка ушла, ни слова не говоря и уводя с собой ребенка, который плакал.

— Разве обидели чем-нибудь моего сына? — воскликнул Жермен, глаза которого загорелись.

— Как, это ваш сын? Почему же он был с этой девочкой? Откуда вы сами и как вас зовут?

Жермен, видя, что по обычаю этих мест на все его вопросы будут отвечать новыми вопросами, топнул с нетерпением ногой и заявил, что ему нужно повидать хозяина.

Но хозяина не было; он не имел обыкновения оставаться на целый день, когда приезжал на ферму. Он сел на лошадь и уехал на какую-нибудь другую из своих ферм, а куда именно — неизвестно.

— Но, — сказал Жермен в сильной тревоге, — неужели вы так и не знаете, почему же ушла эта молодая девушка?

Арендатор обменялся со своею женой странной улыбкой и ответил затем, что ничего он не знает, и это его не касается. Жермену удалось только узнать, что молодая девушка и ребенок пошли в сторону Фурша.

Он побежал в Фурш; вдова и ее поклонники еще не вернулись, так же как и старик Леонар. Служанка сказала ему, что его спрашивала молодая девушка с ребенком, но она, не зная, кто они, не приняла их и посоветовала им итти в Мерс.

— А почему вы отказались их принять? — сказал Жермен, очень раздосадованный. — Значит, в ваших местах народ настолько недоверчив, что не открывает дверь своему ближнему.

— Ну, а как же, — ответила служанка, — в таком богатом доме, как этот, есть все основания хорошо его сторожить. Я отвечаю за все, когда хозяева отсутствуют, и не могу отворять дверь первому встречному.

— Это отвратительный обычай, — сказал Жермен, — и я предпочел бы быть совсем бедняком, только бы не жить так, в постоянном страхе. Прощайте девушка; мерзкая ваша сторонка, прощай!

Он стал разузнавать в окрестных домах. Там сказали, что видели пастушку и ребенка. Так как мальчик ушел из Белэра неожиданно, не принарядившись, в немного разорванной блузе и со своей маленькой ягнячьей шкуркой на плечах, а маленькая Мари была всегда очень бедно одета, то их приняли за нищих. Им предложили хлеба; молодая девушка согласилась взять один кусок для ребенка, который был голоден, затем она пошла с ним очень быстро и исчезла в роще.

Жермен задумался на мгновение, затем он спросил, не был ли фермер из Ормо в Фурше.

— Да, — ответили ему, — он проехал верхом очень скоро после этой девушки.

— Разве он гнал за ней?

— А, так вы его знаете? — сказал засмеявшись местный кабатчик, к которому он

обращался. — Да, конечно, это бешеный молодчик в рассуждении девчат. Но не думаю, чтобы он эту поймал; хотя, впрочем, если он ее видел...

— Довольно, спасибо!

И Жермен скорей полетел, чем побежал, на конюшню Леонара. Он набросил седло на Серку, вскочил на нее и поскакал быстрым галопом, по направлению Шантелубских лесов.

Его сердце так и прыгало от беспокойства и гнева, пот лил у него со лба. Он раскровянил бока Серки, хотя она, увидав, что находится на пути к своей конюшне, не заставляла просить себя бежать.

XIV

СТАРУХА

Жермен вскоре опять очутился у того самого места, где он провел ночь у болота. Огонь еще дымился; старая женщина собирала остатки хвороста, который набрала маленькая Мари. Жермен остановился, чтобы ее расспросить. Она была глуха и не понимала его вопросов.

— Да, сынок, — сказала она, — тут Чортово Болото. Это скверное место, и не следует к нему подходить, не бросив сперва туда трех камней левой рукой и не перекрестившись в то же время правой: это прогоняет духов. Иначе приключатся несчастья с тем, кто кругом его обойдет.

— Я вам не про это говорю, — сказал Жермен, приближаясь к ней и крича изо всех сил. — Не видали ли вы в лесу девушку и ребенка?

— Да, — сказала старуха, — в нем утонул маленький ребенок.

Жермен содрогнулся с головы до ног, — но, к счастью, старуха прибавила:

— Это было очень давно; и в память этого происшествия здесь поставили хороший крест, но в одну грозовую ночь злые духи сбросили его в воду. Можно еще увидеть один его конец. Если кто-нибудь имел несчастье остановиться здесь ночью, он может быть уверенным, что выйдет отсюда только днем. Сколько бы он ни ходил, он мог бы сделать двести миль по лесу, а все-таки всегда очутился бы на том же самом месте.

Помимо собственной воли, воображение хлебопашца было поражено всем тем, что ему довелось услышать, и мысль о несчастьи, которое должно было случиться, чтобы окончательно оправдать уверенья старухи, охватила его так сильно, что он почувствовал озноб по всему телу. Отчаявшись получить от нее еще хоть какие-нибудь сведения, он опять влез на лошадь и стал объезжать лес, крича изо всех сил Пьера, свища, щелкая кнутом и ломая ветки, чтобы наполнить лес шумом своей езды, и прислушиваясь затем, не отвечает ли ему какой-нибудь голос; но он слышал лишь колокольчики коров, рассеянных в кустах, и дикие крики свиней, ссорящихся из-за жолудей.

Наконец Жермен услышал топот бегущей за ним лошади, и человек средних лет, темноволосый и плотный, одетый, как полугорожанин, закричал ему, чтобы он остановился. Жермен никогда не видал фермера из Ормо; но какой-то яростный инстинкт заставил его сейчас же догадаться, что это был он. Он обернулся и, смерив его взглядом с головы до ног, стал ждать, что тот ему скажет.

— Не прошла ли здесь молодая девушка пятнадцати или шестнадцати лет с маленьким мальчиком? — сказал фермер, притворяясь безразличным, хотя был заметно взволнован.

— А что вам от нее нужно? — ответил Жермен, не скрывая своего гнева.

— Я мог бы вам сказать, что это вас не касается, товарищ, но, так как у меня нет причины скрывать, я вам скажу, что это пастушка, которую я нанял на год, не зная ее... Когда она пришла, мне показалось, что она чересчур молода и слаба для работы на ферме. Я ее поблагодарил, но я хотел еще оплатить ей расходы по ее маленькому путешествию, а она ушла, рассердившись, пока я стоял к ней спиной. Она так торопилась, что даже забыла часть своих вещей и свой кошелек, который не содержит, конечно, много; вероятно, всего несколько су!.. Но все-таки, так как мне нужно было здесь проезжать, я думал, что ее встречу и отдам ей то, что она забыла и что я ей должен.

У Жермена была чересчур честная душа, чтобы не поколебаться, услышав эту если не очень правдоподобную, то во всяком случае вполне возможную историю. Он устремил

пронизывающий взгляд на фермера, который выдержал это испытание с большим бесстыдством или простодушием.

«Я хочу быть к нему совершенно справедливым», сказал себе Жермен, сдерживая свое негодование.

— Эта девушка из наших мест, — сказал он, — я ее знаю; она, верно, где-нибудь здесь... Поедем вместе... Мы ее, наверное, найдем.

— Вы правы, — сказал фермер. — Поедем... Но однако, если мы не найдем ее до конца этой дороги, я дальше ехать отказываюсь... Так как мне нужно будет свернуть в сторону Ардант.

— О, — подумал землепашец, — я не отстану от тебя! Хотя бы мне пришлось двадцать четыре часа кружиться вокруг Чортова Болота!

— Погодите! — внезапно сказал Жермен, устремив взгляд на странно колеблющийся куст дрока: — Гоп-гоп! Малютка-Пьер! ты ли это, дитя мое?

Ребенок узнал голос отца и выпрыгнул из дрока, как козленок; но, когда он увидел фермера, он остановился в нерешительности, как бы чем-то испуганный.

— Поди сюда, мой Пьер! поди сюда, это я! — воскликнул землепашец, поспешив к нему и спрыгнув с лошади, чтобы взять его на руки. — А где же маленькая Мари?

— Она там, она прячется, потому что она боится этого гадкого человека, и я тоже.

— Ну, успокойся же, я тут... Мари! Мари! это я!

Мари приблизилась ползком, и, как только увидела Жермена, за которым поблизости следовал фермер, она побежала, бросилась к нему и, прильнув, как дочь к отцу, воскликнула:

— Ах, мой славный Жермен, вы меня защитите; с вами я не боюсь.

Жермен вздрогнул. Он посмотрел на Мари; она была бледна, одежда ее была изорвана шипами терновника, куда она пряталась, как лань, окруженная охотниками. Но не было ни стыда, ни отчаяния на ее лице.

— Твой хозяин хочет с тобой поговорить, — сказал он ей, продолжая наблюдать за выражением ее лица.

— Мой хозяин, — сказала она гордо, — этот человек мне не хозяин и не будет им никогда!.. Это вы, Жермен, мой хозяин. Я хочу, чтобы вы меня отвезли обратно с собой... Я буду вам служить даром!

Фермер приблизился к ней, притворяясь немного нетерпеливым.

— Эй, девочка, — сказал он, — вы забыли у нас что-то, и я захватил это для вас.

— Никак нет, господин, — ответила маленькая Мари, — я ничего не забыла и ничего с вас не спрашиваю...

— Подойдите-ка сюда, — возразил фермер, — мне нужно вам что-то сказать!.. Полно!.. не бойтесь... два слова всего...

— Вы можете сказать это громко... У меня нет с вами секретов.

— Возьмите по крайней мере ваши деньги.

— Мои деньги! Вы мне славу богу, ничего не должны!

— Я так и подозревал, — сказал Жермен вполголоса: — но это безразлично, Мари... послушай, что он тебе скажет... мне это очень любопытно знать. Ты мне это скажешь потом: у меня есть на это свои причины. Подойди к его лошади... я не теряю тебя из вида.

Мари сделала три шага к фермеру, который, наклонясь на седле, сказал ей, понизив голос:

— Вот тебе хорошенький золотой, девочка, ты ничего не окажешь, слышишь? Я скажу, что нашел тебя слишком слабой для работы на моей ферме... И чтобы об этом больше не было речи... Я опять на днях буду в ваших краях, и если ты ничего не скажешь, я тебе подарю еще что-нибудь... Кроме того, если ты стала более благоразумной, тебе стоит только

сказать, и я тебя отвезу обратно к себе или приду поболтать с тобою в луга, когда будет смеркаться... Какой подарочек тебе принести?

— Вот, господин, подарок вам от меня, — громко ответила маленькая Мари, с силой бросая ему в лицо его луидор. — Я очень вам благодарна, и я прошу вас меня предупредить, когда вы опять приедете к нам; все наши парни отлично вас встретят, у нас ведь очень любят таких буржуа, которые рассказывают свои сказки бедным девушкам! Вы увидите, как вас будут поджидать.

— Вы врунья, и у вас дурацкий язык, — сказал фермер, страшно рассердившись и подняв угрожающе свою палку. — Вы хотите, чтобы поверили в то, чего нет, но вы не выудите из меня денег: таких, как вы, все хорошо знают!

Мари в испуге отшатнулась, но Жермен схватил под уздцы лошадь фермера и с силою дернул к себе.

— Теперь все понятно, — сказал он, — и мы хорошо видим, в чем дело... На землю, приятель! на землю! и давай поговорим с тобой вдвоем!



Фермеру не хотелось впутываться в историю; он дал шпоры лошади, чтобы освободиться, и замахнулся палкой, чтобы ударить по рукам земледельца и заставить его выпустить узду, но Жермен уклонился от удара и, схватив фермера за ногу, свалил его с седла

прямо в папоротник; он ударил его с силой об землю, хотя тот и поднялся на ноги и крепко защищался. Когда он подмял его под себя, он сказал ему:

— Бессердечный ты человек! Я мог бы тебя страшно исколотить, если бы только этого захотел! Но я не люблю причинять зло, и кроме того никакое наказание не исправит тебя. Однако же ты не двинешься отсюда, пока не попросишь на коленях прощения у молодой девушки.

Фермер, хорошо знавший такого рода дела, хотел обратить все это в шутку. Он утверждал, что грех не так уж велик, раз он ограничился только словами, и он соглашался попросить прощения с условием, что он поцелует молодую девушку и что потом все вместе они пойдут распить по кружке вина в ближайшем кабачке и расстанутся добрыми друзьями.

— Мне тебя жалко! — ответил ему Жермен, толкая его лицом об землю, — и я не хочу больше видеть твоей противной рожи. Ну, покрасней, если можешь, и постарайся ехать дорогой обидчиков,^[1] когда будешь проезжать мимо нас.

Он поднял его палку из падуба и, разломив ее о колено, чтобы показать силу своих рук, с презрением отбросил куски ее прочь, далеко от себя.

Затем, взяв одною рукой своего сына, а другою маленькую Мари, он отошел, весь дрожа от негодования.

XV

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Через четверть часа они проехали через пустошь, заросшую вереском. Они ехали по большой дороге, и Серка ржала на каждый знакомый предмет. Малютка-Пьер рассказывал своему отцу все, что он мог понять из того, что произошло.

— Когда мы пришли, — говорил он, — этот *мужчина-вот* пришел, чтобы поговорить с *моей Мари*, в овчарню, куда мы сейчас и пошли, чтобы посмотреть красивых баранов. Я влез в ясли там поиграть, и этот *мужчина-вот* меня не видал. Тогда он поздоровался с моей Мэри и поцеловал ее.

— И ты дала себя поцеловать, Мари? — сказал Жермен, весь дрожа от гнева.

— Я подумала, что это учтивость, местный обычай относительно новоприбывших, как у нас бабушка целует молодых девушек, поступающих к ней служить, чтобы показать, что она их принимает и будет им, как мать.

— И затем, — продолжал Малютка-Пьер, гордясь тем, что он может рассказать целое происшествие, — *этот мужчина-вот* сказал тебе что-то плохое, что ты мне наказала никогда не повторять и не помнить: и я позабыл это очень скоро. Однако, если отец хочет, чтобы я ему сказал, что это было...

— Нет, мой Пьер, я не хочу этого слышать, и хочу, чтобы ты этого никогда не вспоминал.

— В таком случае, я это забуду опять, — возразил ребенок. — И затем этот *мужчина-вот* будто как рассердился, потому что Мари ему говорила, что она уйдет. Он ей сказал, что даст ей все, чего она захочет: сто франков! И моя Мари тоже рассердилась. Тогда он пошел на нее, точно хотел ей сделать зло. Я испугался и бросился с криком к Мари. Тогда этот *мужчина-вот* сказал так: «Это что такое? Откуда выскочил этот ребенок? Выбросьте мне это отсюда вон». И он поднял палку, чтобы меня бить. Но моя Мари помешала ему и сказала так: «Мы поговорим позднее, господин; а теперь мне нужно отвести ребенка в Фурш, и потом я возвращусь». И тотчас, как он вышел из овчарни, моя Мари сказала мне так: «Убежим, мой Пьер, уйдем отсюда как можно скорее, это злой человек, и он может нам сделать только плохое». Тогда мы прошли позади риг, перешли через маленький луг и пошли, чтобы отыскать тебя в Фурше. Но тебя не было, и нам не позволили тебя ждать. И тогда этот *мужчина-вот* на своей вороной лошади поехал за вами, и мы побежали дальше, и потом мы спрятались в лесу. И потом он тоже туда приехал, и когда мы слышали, что он едет, мы прятались от него. И потом, когда он проезжал, мы опять бежали, чтобы вернуться к нам домой; и потом, наконец, ты приехал и нашел нас; вот как все это случилось. Правда, моя Мари, я ничего не забыл?

— Нет, мой Пьер, и все это правда. А теперь, Жермен, вы должны быть у меня свидетелем и сказать всем у нас, что я не осталась там не потому, что у меня не хватило мужества и желания работать.

— А тебя, Мари, — сказал Жермен, я попрошу спросить у самой себя, чересчур ли стар мужчина двадцати восьми лет, когда нужно защитить женщину и наказать наглеца. Я хотел бы знать, не был ли бы Бастиан или другой какой-нибудь хорошенький мальчик, на десять лет моложе меня, раздавлен этим *мужиной-вот*, как называет его маленький Пьер? Как ты об этом думаешь?

— Я думаю, Жермен, что вы мне оказали большую услугу и что я буду вам благодарна за это всю мою жизнь.

— И это все?

— Мой маленький папочка, — сказал ребенок. — Я еще и не подумал сказать маленькой Мари то, что тебе обещал. У меня не было времени, но я скажу это ей дома и скажу также моей бабушке.

Это обещание, сделанное его ребенком, заставило Жермена призадуматься. Теперь наступило время объяснения с родителями, и нужно было сказать им, чем не понравилась ему вдова Герен, но помолчать пока о том, какие другие мысли настроили его на такую проницательность и строгость. Когда бываешь счастлив и горд, нетрудным кажется и других заставить принять твое счастье; но когда с одной стороны тебя отталкивают, а с другой порицают, положение не очень-то приятное.

По счастью, маленький Пьер спал, когда они вернулись, и Жермен положил его, не разбудив, на его постель. Затем он начал давать все объяснения, какие только мог дать. Старик Морис сидел на своем табурете у входа в дом и слушал его серьезно, и хотя он и был недоволен результатом этого путешествия, однако когда Жермен рассказал ему о системе кокетства вдовы и спросил у старика, имеет ли он, Жермен, достаточно времени, чтобы проводить пятьдесят два воскресенья в году у вдовы, ухаживая за ней, с риском быть все же отвергнутым в конце года, — тесть отвечал, кивнув головой в знак согласия: «Ты был прав, Жермен, этого нельзя было делать». И затем, когда Жермен рассказал, каким образом он был принужден привезти назад маленькую Мари, чтобы избавить ее от оскорблений, а может быть и от насилий недостойного хозяина, старик Морис опять наклонил свою голову в знак согласия и сказал: «Ты прав, Жермен, так должно было поступить».

Когда Жермен окончил свой рассказ и дал все свои объяснения, тесть и теща одновременно испустили глубокий вздох в знак покорности судьбе и посмотрели друг на друга. Затем глава семьи встал и сказал: «Да будет воля господня. Насильно мил не будешь».

— Пойдемте-ка ужинать, Жермен, — сказала теща. — Конечно, очень прискорбно, что из этого ничего не вышло, но, вероятно, бог этого не хотел. Нужно будет посмотреть в другом месте.

— Да, — прибавил старик, — как говорит моя жена, посмотрим в другом месте.

И больше не было в доме об этом никаких других разговоров; и когда на другой день маленький Пьер встал вместе с жаворонками на рассвете, он не был уже больше возбужден необычными происшествиями предыдущих дней и впал вновь в безразличное состояние, как и все крестьянские мальчишки его лет; он позабыл все то, что у него бродило в голове, и думал только об играх со своими братьями и о том, как ему быть *настоящим мужчиной* с волами и лошадьми.

Жермен тоже постарался все это забыть, погружившись в работу, но он стал таким грустным и рассеянным, что все это заметили. Он не разговаривал с маленькой Мари и даже не смотрел на нее; и однако же, если бы его спросили, на каком лугу она сейчас или какою дорогой она прошла, он мог бы в любое время на это ответить, если бы только захотел отвечать. Он не посмел попросить родителей принять ее зимою на хутор и однако же хорошо знал, что она должна была страдать от крайней нужды. Но она не страдала, и тетка Гилета никак не могла понять, почему ее маленький запас дров несколько не уменьшался и почему ее сарай был полон утром, хотя она оставляла его почти пустым вечером. Так же было и с зерном, и с картошкой. Кто-то проникал через слуховое окно чердака и высыпал мешок на пол, никого не будя и не оставляя никаких следов. Старуха была одновременно и обеспокоена и обрадована; она убедила дочь никому про это не рассказывать, говоря, что, если узнают про чудо, происходящее у нее, ее сочтут за колдунью. Она, действительно, думала, что тут замешан дьявол, но она не спешила с ним поспорить, призывая заклинания кюрэ на свой

дом; она говорила себе, что на это будет еще время, когда Сатана явится требовать ее душу в обмен на свои благодеяния.

Маленькая Мари лучше понимала правду, но не смела об этом говорить с Жерменом из боязни, что он опять вернется к своей мысли о браке, и она притворялась в разговорах с ним, будто ничего не замечает.

XVI

СТАРУХА МОРИС

Однажды старуха Морис, находясь вдвоем с Жерменом во фруктовом саду, сказала ему дружески:

— Бедный мой зять, мне думается, вам что-то нехорошо. Вы стали есть хуже, чем всегда, никогда больше не смеетесь и разговариваете все меньше и меньше. Разве кто-нибудь из наших или мы сами, не зная и не желая этого, причинили вам какое-нибудь огорчение?

— Нет, матушка, — ответил Жермен, — вы всегда были так добры ко мне, как мать, которая меня родила, и я был бы неблагодарным, если бы сетовал на вас или на вашего мужа, или на кого-нибудь из нашего дома.

— В таком случае, дитя мое, это опять вернулось ваше горе от смерти жены. Вместо того, чтобы исчезнуть со временем, печаль все усиливается, и нужно обязательно сделать то, что посоветовал очень разумно ваш тесть: вам нужно второй раз жениться.

— Да, матушка, об этом же думаю и я, но женщины, за которых вы мне советовали посвататься, мне не подходят. Когда я их вижу, то, вместо того, чтобы забыть мою Катерину, я думаю о ней еще больше.

— Это оттого, Жермен, что просто мы не сумели угадать вашего вкуса. Значит, нужно, чтобы вы сами помогли, сказав нам правду. Без сомнения, есть где-нибудь женщина, созданная для вас, так как господь никого не творит, не предназначив ему счастья в лице другого. Если же вы знаете, где ее взять, эту женщину, которая вам нужна, возьмите ее; и будет ли она красива или безобразна, молода или стара, богата или бедна, мы решились, мой старик и я, дать вам наше согласие, так как мы устали видеть вас таким печальным, и мы не можем жить спокойно, если вы беспокойны.

— Вы, матушка, добры, как господь бог, и так же добр и отец, — ответил Жермен, — но ваше сочувствие не может мне помочь: девушка, которую я хочу, не хочет меня.

— Так, значит, она еще очень молода. Привязаться к чересчур молодой девушке — это совсем неразумно для вас.

— Ну да, моя добрая матушка, я имел это безумие полюбить очень юную девушку и осуждаю себя за это. Я делаю все возможное, чтобы о ней больше не думать; но работаю ли я, или отдыхаю, стою ли у обедни, или лежу в своей постели, бываю ли с вами или со своими детьми, я думаю все время о ней и не могу думать ни о чем другом.

— Это точно вас сглазили, Жермен. Против этого есть только одно средство: нужно, чтобы эта девушка изменилась и выслушала вас. Значит, мне нужно в это вмешаться и посмотреть, возможно ли это. Вы должны мне сказать, где она и как ее зовут.

— Увы, дорогая моя матушка, я не смею, — сказал Жермен, — вы будете смеяться надо мной.

— Я не буду над вами смеяться, Жермен, вы в горе, и мне не хочется его еще больше усиливать. Может быть, это Фаншета?

— Нет, матушка, это не она.

— Или Розета?

— Нет.

— Скажите же, а то я никогда не кончу, если мне нужно будет называть всех девушек нашей деревни.

Жермен опустил голову и не мог решиться ответить.

— Ну, полно, — сказала старуха Морис, — я оставляю вас на сегодняшний день в покое, Жермен; может быть завтра вы будете со мной более доверчивы, или ваша невестка сумеет более удачно вас расспросить.

И она подняла корзину, чтобы пойти развесить белье на кустах.

Жермен сделал, как дети, которые решаются тогда, когда видят, что на них больше не обращают внимания. Он пошел за своей тещей и, наконец, весь дрожа, назвал *маленькую Мари, дочку Гилеты*.

Велико было изумление старухи Морис; Мари была самая последняя, о которой она бы подумала. Но она имела деликатность сдержать свое восклицание и только мысленно выразила свои суждения по этому поводу. Видя однако, что ее молчание удручало Жермена, она протянула ему корзинку и сказала:

— Ну, разве это причина, чтобы не помогать мне в работе? Отнесите это и вернитесь поговорить со мной. Хорошо ли вы все обдумали, Жермен? Твердо ли вы решились на это?

— Увы, дорогая матушка, не так приходится говорить: я-то решил бы, если бы мне это могло удалиться; но, так как меня не станут и слушать, я положил себе от этого излечиться, если только смогу.

— А если вы не сможете?

— Всякая вещь имеет свой предел: когда лошадь чересчур натружена, она падает, и когда быку нечего есть, он умирает.

— Это значит, что вы умрете, если это вам не удастся? Да боже упаси, Жермен! Я не люблю, когда такой человек, как вы, говорит подобные вещи, потому что, когда он их говорит, значит, он так и думает. У вас много мужества, Жермен, а слабость бывает опасна у сильных людей. Полно, не теряйте надежды. Я не понимаю, как это девушка, которая живет в такой нищете и которой вы делаете такую большую честь, сватаясь за нее, как она может вам отказать!

— И однако же это правда, она мне отказывает.

— Ну, и почему же? И что же она вам говорит?

— Что вы всегда ей делали добро, что ее семья многим обязана вашей, и что она не хочет досаждать вам, отвлекая меня от богатого брака.

— Если она говорит это, она проявляет хорошие чувства, и это очень честно с ее стороны. Но, говоря вам это, Жермен, она не вылечивает вас, так как она, наверное, говорит, что любит вас и вышла бы за вас, если бы мы этого хотели.

— Вот это-то и есть самое худшее, что сердце ее не лежит ко мне!

— Если она говорит не то, что думает, чтобы лучше удалить вас от себя, то это дитя заслуживает, чтобы мы ее полюбили и не обращали внимания на ее молодость из-за ее большого ума.

— Да... — сказал Жермен, пораженный надеждой, которая еще не успела как следует в него проникнуть: — это было бы очень разумно и *очень прилично* с ее стороны! Но не потому ли она так благоразумна, что я ей не нравлюсь? Я этого очень боюсь.

— Жермен, — сказала старуха Морис, — вы должны мне обещать быть спокойным всю эту неделю, не мучиться, есть, спать и быть веселым, как раньше. А я поговорю со своим стариком, и, если я уговорю его согласиться, вы узнаете тогда истинные чувства этой девушки к вам.

Жермен обещал, и неделя прошла, а старик Морис не сказал ему наедине ни единого слова и, казалось, ничего не подозревал. Земледелец старался казаться спокойным, но он становился все бледнее и тревожнее.

XVII

МАЛЕНЬКАЯ МАРИ

Наконец, в воскресенье, когда они вышли от обедни, теща спросила его, чего он добился от своей подружки со времени их разговора в фруктовом саду.

— Да ровно ничего, — ответил он. — Я с ней и не говорил.

— А как же вы хотите убедить ее, если с ней не говорите?

— Я говорил с нею всего один раз, — ответил Жермен. — Это когда мы были вместе в Фурше; и с этого времени я не сказал ей ни слова. Ее отказ так меня огорчил, что я предпочитал больше не слышать от нее, что она меня не любит.

— Ну, теперь, сынок, вам нужно будет с нею поговорить; ваш тесть разрешает вам это сделать. Подите же к ней и решитесь на это! Я говорю вам это, и, если нужно, я этого хочу; вы не можете оставаться в таком сомнении.

Жермен послушался. Он поник головой, и вид у него был крайне удрученный, когда он пришел к Гилете. Маленькая Мари сидела одна у огня; она так сильно задумалась, что не услышала, как вошел Жермен. Когда она увидала его перед собою, она от изумления подскочила на стуле, и вся покраснела.

— Маленькая Мари, — сказал он, садясь рядом с ней, — я пришел тебя огорчать и надоедать тебе, я это хорошо знаю, но *мужчина и женщина нашего дома* (так обозначал он согласно обычаю людей, возглавлявших семью) хотят, чтобы я с тобою поговорил и предложил тебе выйти за меня замуж. Ты этого не хочешь? Я так этого и жду.

— Жермен, — ответила маленькая Мари, — так это решено, что вы меня любите?

— Это тебя сердит, я знаю, но это не моя вина; если бы ты могла перемениться ко мне, я был бы рад, но, вероятно, я не заслуживаю, чтобы это случилось. Ну, посмотри на меня, Мари, значит, я такой уже страшный?

— Нет, Жермен, — ответила она, улыбаясь, — вы красивее меня.

— Не насмехайся надо мной; посмотри на меня снисходительнее; у меня целы еще все волосы и все зубы. Мои глаза говорят тебе, что я тебя люблю. Посмотри же мне в глаза, это в них написано, а каждая девушка умеет это читать.

Мари посмотрела в глаза Жермена со своей веселой уверенностью, и внезапно она вдруг отвернула голову и стала дрожать.

— Ах, боже мой! я тебя напугал, — сказал Жермен — ты смотришь на меня, точно я фермер из Ормо. Не бойся меня, прошу тебя, мне это чересчур больно. Я не стану тебе говорить плохих слов и не поцелую тебя насильно, а когда ты захочешь, чтобы я ушел, тебе стоит только показать мне на дверь. Ну, полно, не нужно ли мне уйти, чтобы ты перестала дрожать?

Мари протянула руку земледельцу, но не поворачивала к нему своей наклоненной к очагу головы и не говорила ни единого слова.

— Я понимаю, — сказал Жермен, — ты меня жалеешь, тебя огорчает, что ты делаешь меня несчастным, но ты не можешь меня любить.

— Зачем вы говорите мне такие вещи, Жермен, — ответила маленькая Мари, — вы хотите, чтобы я заплакала?

— Бедная маленькая девочка, у тебя доброе сердце, я это знаю; но ты меня не любишь, и ты прячешь от меня свое лицо, потому что боишься показать мне свое неудовольствие и отвращение. А я, я не смею даже пожать тебе руку! В лесу, когда мой сын спал и ты тоже

спала, я чуть было тихонько не поцеловал тебя. Но я скорее умер бы от стыда, чем стал бы просить тебя об этом, и я так страдал в ту ночь, как человек, который горит на медленном огне. С этих пор я грезил о тебе каждую ночь. Ах, как я целовал тебя, Мари! Но ты в это время спала без всяких снов. А теперь, знаешь ли, что я думаю: если бы ты повернулась и посмотрела на меня такими глазами, какие у меня для тебя, и если бы ты приблизила твое лицо к моему, я думаю, что я упал бы мертвым от радости. А ты, ты думаешь, что, если бы с тобою подобная вещь случилась, ты умерла бы от гнева и стыда.

Жермен говорил как во сне, не слыша сам, что он говорит. Маленькая Мари продолжала дрожать; но, так как сам он дрожал еще сильнее, он уже больше этого не замечал. Внезапно она обернулась; она была вся в слезах и смотрела на него с упреком. Бедный землепашец подумал, что это последний удар, и, не дожидаясь своего приговора, он встал, чтобы уйти. Но девушка остановила его, обняв его обеими руками и спрятав свою голову на его груди:

— Ах! Жермен, — сказала она ему, рыдая, — разве вы не догадались, что я вас люблю?

Жермен сошел бы с ума, но его сын, который его искал, влетел в хижину, скача верхом на палке вместе со своей маленькой сестрой, погонявшей ивовой веткой этого воображаемого скакуна, — и это привело его в себя. Он поднял его на руки и посадил на колени своей невесты.

— Вот смотри, — сказал он ей, — полюбив меня, ты сделала счастливым не только меня одного!



XVIII

ДЕРЕВЕНСКАЯ СВАДЬБА

Тут оканчивается история женитьбы, как он сам мне рассказал ее, этот искусный земледелец! Я прошу у тебя извинения, друг-читатель, что не сумела тебе ее лучше перевести, так как нужен настоящий перевод для передачи старинного и наивного языка крестьян из тех мест, которые я *воспеваю* (как говорили раньше). Эти люди говорят чересчур по-французски для нас, а со времен Раблэ и Монтэня мы потеряли, благодаря движению вперед нашего языка, много старых богатств. Так, впрочем, бывает со всяким прогрессом, и нужно с этим примириться. Но большое удовольствие доставляет слушать эти живописные особенности языка, господствующие на старой почве в центре Франции, тем более, что это есть настоящее выражение насмешливо-спокойного и шутливо-говорливого характера людей, которые их употребляют. Турень сохранила еще некоторое количество этих драгоценных патриархальных выражений. Но Турень очень цивилизовалась со времен эпохи Возрождения. Она покрылась замками, дорогами, иностранцами и движением. Берри остался неподвижен, и я думаю, что после Бретани и еще нескольких провинций на крайнем юге Франции — это страна, наиболее *сохранившаяся* в наши дни. Некоторые обычаи ее столь странны и любопытны, что я надеюсь позабавить тебя еще на мгновение, дорогой читатель, если ты позволишь мне рассказать в подробностях деревенскую свадьбу, например свадьбу Жермена, на которой я имела удовольствие присутствовать несколько лет тому назад.

Увы, все проходит. С тех пор, как я существую, в идеях и обычаях моей деревни произошло больше перемен, чем их было за целые века до революции. Уже исчезла добрая половина тех кельтских, языческих и средневековых церемоний, которые были еще в полном ходу во времена моего детства. Еще может быть год или два, и железные дороги пройдут по нашим глубоким долинам, унося с быстротою молнии наши старинные традиции и чудесные легенды.

Это было зимой, около масленицы, в ту пору года, когда как раз считается приличным и удобным у нас справлять свадьбы. Летом на это нет времени, и работы на хуторе не могут терпеть и трех дней промедления, не говоря уже о дополнительных днях, предназначенных на более или менее усердное переваривание морального и физического опьянения, которое остается после празднества.

Я сидела под обширным сводом старинного кухонного очага, когда выстрелы из пистолета, завывания собак и пронзительные звуки волынки известили меня о приближении жениха и невесты. Вскоре старики Морис, Жермен и маленькая Мари, сопровождаемые Жаком и его женой, родственниками и крестными родителями с той и с другой стороны, вошли во двор.

Маленькая Мари не получила еще своих свадебных подарков, называемых здесь *ливреями* (*livrées*), и потому была одета во все самое лучшее из своих скромных уборов: платье из темного сукна, белая косынка с большими яркими разводами, *инкарнатовый* (красный) передник из ситца, бывший тогда в большой моде и пренебрегаемый теперь, чепец из очень белой кисеи, той счастливо сохранившейся формы, которая напоминает головной убор Анны Болейн и Агнесы Сорель. Она была свежа и весела и нисколько не гордилась, хотя и было чем. Жермен был степенен и нежен с нею, как молодой Иаков, приветствующий Рахиль у водоема Лавана. Всякая другая девушка приняла бы важный и торжествующий вид, так как во всяком слое общества это что-нибудь да значит, когда женятся только из-за прекрасных

глаз. Но глаза молодой девушки были влажны и блистали любовью; видно было, что она была сильно влюблена и не имела времени считаться с тем, что о ней подумают другие. Милый, решительный вид, свойственный ей, ее не покинул, и она была сама искренность и чистосердечие; ничего дерзкого в ее успехе, ничего себялюбивого в сознании своей силы. Я никогда не видела более миленькой невесты, когда она открыто отвечала своим юным подругам, которые спрашивали ее, была ли она довольна:

— Ну, конечно! Я не могу пожаловаться на господа бога!

Старик Морис взял себе слово: он должен был совершить эти приветствия и приглашения согласно обычаю. Сначала он привязывал к колпаку домашнего очага веточку лавра, украшенную лентами; это называют *повестка*, то есть осведомительное письмо, затем он роздал каждому из приглашенных по маленькому крестик, сделанному из куска голубой ленты, которую пересекает кусок розовой ленты: розовый цвет для невесты, голубой для жениха; приглашенные обоего пола должны беречь этот значок, чтобы украсить им в день свадьбы — одни свой чепец, другие — свою петлицу. Это пригласительное письмо, входной билет.

После того Морис произнес свое приветствие. Он приглашал хозяина дома и всю его *компанию*, то есть всех его детей, всех родных, всех друзей и всех служащих на благословение — *на пиршество, на увеселение, на танцы и на все то, что за этим последует*. Он не преминул сказать: «Я пришел оказать вам честь приглашением на церемонию». Выражение очень правильное, хотя и кажется нам бессмыслицей, так как заключает мысль об оказании чести тем, кого и без того считают достойными.

Несмотря на щедрость приглашений, разносимых подобным образом из дома в дом по всему приходу, вежливость, которая у крестьян доходит до щепетильности, требует, чтобы лишь двое из каждой семьи воспользовались этим приглашением, один из хозяев и один из детей.

После этих приглашений жених с невестой и их родные, все вместе пошли обедать на хутор.

Маленькая Мари стерегла потом своих трех овец на общественной земле, а Жермен поехал пахать, будто ничего и не было.

Накануне дня, назначенного для свадьбы, около двух часов пополудни, прибыла музыка, то есть *волынщик и рылейщик*^[2], со своими инструментами, украшенными длинными развевающимися лентами; они играли подходящий к случаю марш в ритме, несколько медлительном для ног уроженцев не этого края, но прекрасно рассчитанном на свойства жирной земли и на холмистые дороги этой страны. Выстрелы из пистолета, сделанные молодыми людьми и детьми, оповестили о начале свадьбы. Мало-по-малу стали собираться и, чтобы немного разойтись, начали танцевать перед домом на лужку. Когда стало темнеть, начались странные приготовления, все разделились на две группы, и когда совсем стемнело, приступили к церемонии передачи подарков (*livrées*).

Это происходило в доме невесты, в избушке Гилеты. Гилета взяла с собой свою дочь, дюжину молодых и хорошеньких *пастушек*, подруг и родственниц ее дочери, двух или трех почтенных матрон из соседок, бойких на язык, быстрых на ответ и строгих хранительниц древних обычаев. Затем она отобрала дюжину сильных борцов из своих родственников и друзей и, наконец, старого *коноплящика* своего прихода, человека красноречивого и большого говоруна.

Роль, которую играет в Бретани сельский портной (*le bazvalan*), выполняет в наших местах трепальщик конопли или чесальщик шерсти (две профессии, часто соединяемые вместе). Он является непрямым участником всех печальных или веселых торжеств, так

как он человек крайне сведущий и большой краснбай, и ему в таких случаях всегда поручают говорить слово, чтобы достойным образом выполнить некоторые формальности, принятые с незапамятных времен. Бродячие профессии, которые вводят человека в лоно чужой семьи, не позволяя ему сосредоточиваться на своей собственной, способствуют тому, чтобы сделать его болтуном, шутником, рассказчиком и певцом.

Трепальщик конопли является скептиком по преимуществу. Он и еще другой деревенский деятель, о котором мы будем сейчас говорить, — могильщик, являются оба вольнодумцами округи. Они столько рассказывали про привидения и так хорошо знают все штуки, на которые способны эти злые духи, что сами совсем их не боятся. Это бывает исключительно ночью, когда все они — могильщики, коноплянщики, привидения — упражняются в своем ремесле. Ночью же коноплянщик рассказывает и свои легенды. Да позволят мне некоторое отступление.

Когда конопля бывает совершенно готова, то есть достаточно вымочена в проточной воде и наполовину высушена на берегу, ее вносят во двор жилищ; там ее ставят маленькими снопами, которые со своими стеблями, расходящимися книзу, и головками, связанными в шары, уже в достаточной степени напоминают вечером длинную вереницу маленьких белых призраков, бесшумно движущихся вдоль стен на тонких ногах.

В конце сентября, когда ночи еще теплы, начинают при бледном свете луны мять коноплю. Днем коноплю нагревают в печи; ее вытаскивают вечером, чтобы мять и трепать ее теплой. Для этого употребляют нечто вроде станка с деревянным рычагом, который, опускаясь на желобки, рубит растение, не разрезая его. Тогда-то и бывает слышен ночью по деревням этот сухой, отрывистый звук трех быстрых ударов. Затем наступает тишина; это движение руки, которая продвигает дальше пучок конопли, чтобы мять ее на другом месте. И три удара повторяются снова — это другая рука, которая действует на рычаг; и так все время, пока луна не задернется первыми отсветами зари. Так как эта работа продолжается всего несколько дней в году, то собаки к ней не привыкают и испускают жалобный вой на все стороны горизонта.

Это время необыкновенных и таинственных звуков в деревне. Переселяющиеся журавли пролетают на таких высотах, что и днем их едва различает глаз. Ночью же их только слышно; и их хриплые, стонущие голоса, затерявшиеся где-то в облаках, кажутся призывом и прощанием мучающихся душ, которые пытаются найти дорогу к небу и которых непреодолимый рок заставляет парить неподалеку от земли, вокруг людских жилищ, так как эти птицы-странники бывают вообще странно нерешительны и таинственно беспокойны во время своего воздушного пути. Случается, что они теряют направление ветра, когда капризные ветерки борются между собою или сменяются на больших высотах. И тогда, если это случается днем, видно бывает, как начальник стаи летает беспорядочно в воздухе, затем делает быстрый поворот и становится в хвосте трехугольной фаланги, в то время как его спутники опытным движением выстраиваются снова в полный порядок за ним. Часто, после тщетных усилий, изнемогший вожак отказывается вести караван, выдвигается другой, пытается в свою очередь и уступает место третьему, который отыскивает, наконец, течение воздуха и торжественно открывает шествие. Но сколько криков, сколько упреков, сколько предостережений, сколько диких проклятий или беспокойных вопросов, которыми на неизвестном языке обмениваются эти крылатые странники!

В звонком воздухе ночи слышно иногда, как кружатся над домами эти зловещие вопли, и, так как видеть ничего нельзя, испытываешь, помимо своей воли, какой-то страх и беспокойное сочувствие до тех самых пор, пока эта рыдающая туча не исчезнет в необъятности.

Есть еще некоторые звуки, свойственные этому времени года, но возникают они, главным образом, во фруктовых садах. Сбор плодов еще не наступил, и тысяча необычайных тресков делают деревья похожими на живые творения. Скрипнет ветка, сгибаясь от груза плодов, внезапно дошедших до предела своего развития; или яблоко оторвется и тяжело упадет на сырую землю к вашим ногам. Тогда вы слышите, как кто-то убегает, шурша травой и ветками, это существо, которого вы не видите, — это крестьянский пес, этот любопытный и беспокойный бродяга, одновременно дерзкий и трусливый, который проникает всюду, никогда не спит, постоянно ищет неизвестно чего, следит за вами, спрятанный в кустарнике, и обращается в бегство от звука упавшего яблока, думая, что вы бросаете в него камнем.

В такие-то ночи, облачные и сероватые, коноплянщик рассказывает свои необычайные приключения, о домовых и о белых зайцах, о страждущих душах и о колдунах, обращенных в волков, о шабаше на перекрестке и о совах-прорицательницах на кладбище. Я помню, как провела так первые часы ночи около *мялок* в работе; их беспощадные удары, прерывая рассказ коноплянщика на самом страшном месте, заставляли нас содрогаться ледяною дрожью, и часто старичок мял коноплю, не прерывая рассказа; и четыре или пять слов для нас пропадали: без сомнения, это были страшные слова, но мы не смели его просить повторить их, и этот пропуск прибавлял еще одну ужасную тайну к другим мрачным тайнам его рассказа. Напрасно предупреждали нас служанки, что уже чересчур поздно, чтобы оставаться на воздухе, и что время сна давно уже пришло для нас: они сами умирали от желания слушать дальше; и с каким ужасом проходили мы после этого через деревню, чтобы вернуться домой! Какою глубокой казалась нам церковная паперть, и какой черной и густой тень от деревьев! А кладбище — мы совсем его не видали; мы закрывали глаза, проходя мимо него.

Но коноплянщик любит наводить страх не больше, чем пономарь; он любит и посмешить, он очень насмешлив, и при случае, когда нужно воспевать любовь и брачные узы, он весьма сентиментален; именно он собирает и сохраняет в своей памяти самые древние песни и передает их потомству.

На свадьбах ему поручают брать на себя ту роль, которую, как мы увидим, он будет играть при подношении свадебных подарков маленькой Мари.

XIX

СВАДЕБНЫЕ ПОДАРКИ

Когда все люди собрались в доме, то самым тщательным образом были заперты все двери и окна; пошли даже загородить слуховое окно на чердаке; поставили доски, козлы, бревна и столы поперек всех входов, будто собирались выдержать осаду; и в этой укрепленной обстановке водворилось довольно торжественное, молчаливое ожидание — до той самой поры, как послышались издали пение, смех и звуки деревенских инструментов. Это была партия жениха, с Жерменом во главе; его сопровождали самые храбрые его приятели, могильщик, родные, друзья и слуги, — все они образовывали веселую и надежную свиту.

Однако по мере того как они приближались к дому, они замедляли шаг, сплачивались и замолкали.

Молодые девушки, запертые в доме, оставили себе на окнах маленькие скважины, через которые можно было видеть, как они пришли и расположились в боевом порядке. Шел мелкий и холодный дождь, и это еще обостряло положение, ибо на очаге дома сверкал сильный огонь. Мари хотелось бы сократить неизбежную длительность этой правильной осады: ей неприятно было видеть, как холод пронизывает ее жениха, но она не имела голоса при данных обстоятельствах и даже должна была разделять упрямую жестокость своих товарок.

Когда оба лагеря стали, таким образом, на виду друг у друга, залп огнестрельного оружия, раздавшийся снаружи, поверг в страшную тревогу всех окрестных собак. Домашние собаки бросались с лаем к двери, вообразив, что идет настоящее наступление, и маленькие дети, которых матери тщетно старались успокоить, принялись плакать и стали дрожать. Вся эта сцена была так хорошо разыграна, что посторонний был бы обманут и подумал бы, что нужно действительно обороняться против шайки шоферов.^[3]

Тогда могильщик, бард и ходатай жениха, встал перед дверью и жалобным голосом начал вести с коноплянщиком, поместившимся у слухового окна над этою самою дверью, следующий диалог.

Могильщик.

Увы! добрые люди, дорогие мои прихожане, ради бога откройте мне дверь.

Коноплянщик.

Кто вы такой и где у вас разрешение называть нас вашими дорогими прихожанами? Мы вас не знаем.

Могильщик.

Мы — честные люди, мы в большой беде. Не бойтесь нас, друзья мои, и окажите нам гостеприимство! Падает изморозь, наши бедные ноги совсем замерзли, и мы возвращаемся из такой дали, что потрескались наши сабо.

Коноплянщик.

Если ваши сабо потрескались, вы можете поискать на земле ивовые побеги, чтобы сделать себе *обечайки* (небольшие железные пластинки в форме дужек, которые вкладывают в растрескавшееся сабо, чтобы их скрепить).

Могильщик.

Новые обечайки, да это совсем непрочны. Вы смеетесь над нами, добрые люди, и сделали бы лучше, если бы нам открыли. В вашем жилище видно прекрасное пламя; и, наверное, вы поставили вертел, и у вас радуются и сердцем, и желудком. Откройте же бедным паломникам, которые умрут у вашей двери, если вы над ними не сжалитесь.

Конопляник.

Ах, ах! Вы — паломники, вы нам этого не говорили. А из какого паломничества вы возвращаетесь, скажите нам на милость?

Могильщик.

Мы вам скажем это, когда вы откроете нам дверь, так как мы идем из такой дали, что вы не захотите нам поверить.

Конопляник.

Открыть вам дверь? Ну, нет! Мы не можем вам довериться. Скажите, вы идете из Сен-Сильвена де Пулиньи?

Могильщик.

Мы были в Сен-Сильвэне де Пулиньи, но мы были еще и гораздо дальше.

Конопляник.

Значит, вы доходили до Сен-Соланжа?

Могильщик.

В Сен-Соланже мы были, это уж наверняка; но мы были и еще дальше.

Конопляник.

Вы лжете; вы никогда даже и не доходили до Сен-Соланжа.

Могильщик.

Мы были дальше, так как сейчас мы пришли из Сен-Жак де Компостель.

Конопляник.

Что за ерунду вы нам рассказываете! Мы не знаем такого прихода. Мы прекрасно видим,

что вы дурные люди, разбойники, ничтожества и лгуны. Идите дальше нести вашу чепуху, мы остерегаемся вас, и вы не войдете к нам сюда.

Могильщик.

Увы, бедный мой, сжальтесь над нами! Мы — не паломники, вы это верно отгадали; но мы — несчастные браконьеры, преследуемые сторожами. Также и жандармы гонятся за нами по пятам, и, если вы не позволите нам спрятаться у вас на сеновале, нас схватят и отведут в тюрьму.

Коноплящик.

А кто нам докажет, что вы то самое, про что вы говорите? Ведь вот уже есть одна ложь, которую вы не могли оправдать.

Могильщик.

Если вы нам откроете, мы покажем вам чудесную дичь, которую мы настреляли.

Коноплящик.

Покажите ее нам сейчас же, так как мы вам не доверяем.

Могильщик.

Тогда откройте нам дверь или окно, и мы просунем вам дичь.

Коноплящик.

О, ни за что! Не такой я дурак! Я смотрю на вас через маленькую дырочку и не вижу среди вас ни охотников, ни дичи.

Тут молодой коренастый волопас, обладающий геркулесовой силой, отделился от толпы, где он держался незамеченным, и поднял к слуховому окну ощипанного гуся, продетого на толстый железный вертел, изукрашенный пучками соломы и лентами.

— Вот те на! — воскликнул коноплящик, с осторожностью просовывая руку наружу, чтобы пощупать жаркое: — это не перепелка и не куропатка; это не заяц и не кролик; это что-то вроде гуся или индейки. Вот какие вы прекрасные охотники! И за этой дичью вам не пришлось побегать. Идите-ка дальше, проказники, все ваши выдумки нам хорошо известны, и вы можете идти домой варить себе ужин. А нашего вы и не отведаете.

Могильщик.

Увы, боже мой, куда идти нам жарить свою дичь? Это очень мало для такого множества людей, как у нас; да кроме того у нас нет ни кола, ни двора. В этот час все двери закрыты, все люди спят; только вы веселитесь у себя дома, и у вас, должно быть, каменное сердце, чтобы оставлять нас замерзать снаружи. Откройте же нам, добрые люди, мы не причиним вам расходов. Вы видите сами, что мы принесли с собою жаркое; немного только места у вашего очага, немного только огня, чтобы его зажарить, и мы уйдем от вас довольные.

Коноплящик.

Не думаете ли вы, что у нас чересчур много места, и что дрова нам ничего не стоят?

Могильщик.

У нас есть здесь маленькая связка соломы, чтобы разжечь огонь, этого с нас довольно; позвольте нам только положить вертел поперек вашего очага.

Коноплящик.

Этого не будет; вы нам противны, и нам вас совсем не жалко. Мое мнение, что вы просто пьяны, и вам ничего не нужно, а вы хотите войти к нам, чтобы украсть у нас огонь и наших девушек.

Могильщик.

Если вы не хотите слушать наших доводов, мы войдем к вам силой.

Коноплящик.

Попробуйте, если хотите. У нас все достаточно хорошо заперто, чтобы вас не бояться. А так как вы дерзки, мы вам больше не будем отвечать.

С этими словами коноплящик с шумом закрыл дверцу слухового окна и по лестнице спустился опять в нижнюю комнату. Затем он взял невесту за руку, и, когда молодежь обоего пола к ним присоединилась, они все стали танцевать и весело кричать, в то время как матроны пели пронзительным голосом, изредка закатываясь громким смехом в знак презрения и вызова по отношению к тем, кто был снаружи и вел осаду.

Осаждающие в свою очередь страшно бесились; они стреляли из своих пистолетов в двери, вызывая этим рычанье собак, сильно стучали в стены, сотрясали ставни, выпускали ужасающие крики, — в конце концов поднимался такой шум, что никто из них друг друга не слышал, и такая пыль и дым, что никто друг друга не видел.

Однако это нападение не было еще окончательным, предстояло еще продолжение по установленному обряду. Если кому-нибудь удалось бы разыскать неохраемый проход, какое-нибудь отверстие, можно было бы попробовать ворваться внезапно, и тогда, если бы вертел удалось поставить на огонь, захват очага был бы доказан, комедия кончилась бы, и жених был бы победителем.

Но входы в дом были не так многочисленны, чтобы не было принято требуемых обычаем предосторожностей, и никто бы не взял на себя права употребить насилие до наступления назначенного для этого момента.

Когда устали прыгать и кричать, коноплящик стал думать о сдаче. Он опять влез к своему слуховому окну, открыл его с осторожностью и приветствовал разочарованных осаждающих громким смехом.

— Ну, что же, молодцы, — сказал он, — вы ведь остались в дураках! Вы думали, что нет ничего легче, как войти к нам в дом, а теперь вы видите, что мы хорошо защищаемся. Но мы начинаем вас жалеть, если вы только согласны подчиниться нам и принять наши условия.

Могильщик.

Говорите, добрые люди, скажите, что нужно сделать, чтобы приблизиться к вашему очагу?

Конопляник.

Нужно петь, друзья мои, но петь песню, которую мы не знаем и на которую не можем ответить лучшей.

— За этим дело не станет! — ответил могильщик и запел мощным голосом:

Вот шесть месяцев, как была весна,
— И гулял я по свеженькой травке, —

ответил конопляник голосом немного охрипшим, но устрашающим. — Вы смеетесь, мои бедные люди, что поете нам такое старье. Вы сами видите, что мы останавливаем вас с первого же слова!

Как была она княжеской дочкой...
— И хотелось ей замуж пойти... —

ответил конопляник. — Переходите к другой, эту мы знаем немножечко чересчур.

Могильщик.

Хотите эту:

Возвращаясь из Нанта...

Конопляник.

... Я очень устал. Поглядите! Я очень устал.

Эта еще со времен моей бабушки. Посмотрим-ка следующую!

Могильщик.

Как-то раз, когда гулял...

Конопляник.

Вдоль прелестной этой рощи...

Ну, и глупость же! Наши маленькие дети не захотели бы отвечать на нее. Как! И это все, что вы знаете?

Могильщик.

О, мы вам столько их напоем, что вы, наконец, не сумеете ответить.

Эта борьба продолжалась, по крайней мере, час. Так как оба противника были лучшими знатоками песни во всей округе и их репертуар был неисчерпаем, то это могло бы продолжаться всю ночь, тем более, что коноплянщик немного хитрил и давал петь некоторые песни в десять, двадцать и тридцать куплетов, помалкивая и притворяясь, что он объявит себе сейчас побежденным. Тогда в лагере жениха торжествовали, пели полным голосом, хором, и думали, что противная сторона побеждена; но на половине заключительного куплета слышался грубый, простуженный голос старого коноплянщика, который ревел последние строки; после этого он восклицал:

— Вам не нужно было себя утомлять и петь так долго, дети мои! Мы ее знаем, как свои пять пальцев!

Раз или два однако коноплянщик поморщился, он хмурил брови и с озабоченным видом поворачивался к внимательным матронам. Могильщик выкапывал что-нибудь такое старинное, что его соперник успел позабыть или, может быть, и совсем не знал; но тотчас же добрые кумушки гнусавили голосом пронзительным, как чайка, торжествующий припев; и могильщик, принужденный сдаться, переходил к новым попыткам.

Было бы чересчур долго ждать, на какой стороне окажется победа. Сторона невесты объявила, что готова смиростивиться при условии, что невесте поднесут достойный ее подарок.

Тогда началась песня свадебных подарков на торжественный, как церковное пение, лад. Мужчины снаружи запели низким баритоном в унисон:

Откройте дверь, откройте,
Душенька моя, Мари,
У нас прекрасные подарки.
Ах, подружка, дайте нам войти.

На что женщины изнутри ответили жалобным фальцетом:

Отец мой в горе, моя мать в печали.
А я, девушка, знаю цену себе,
В этакый час не открою.

Мужчины вновь запели первый куплет до четвертой строки, которую изменили так:

И красивый платок для вас.

Но, от лица невесты, женщины ответили, как и в первый раз.

В двадцати куплетах, по крайней мере, мужчины перечисляли свадебные подарки,

упоминая всегда о новой вещи в последней строке: красивый передник (devanteau), прекрасные ленты, суконное платье, кружева, золотой крест и даже сотни булавок, чтобы дополнить скромные подарки жениха. Отказ матрон был непреложен, но, наконец, парни решились заговорить *о красивом муже в подарок*, и они на это ответили, обращаясь к невесте и напевая ей вместе с мужчинами:

Откройте дверь, откройте,
Душенька моя, Мари.
Пришел красивый муж за вами,
Ну, подружка, дайте им войти!

XX ВЕНЧАНИЕ

Тотчас же коноплянщик вытащил деревянный болт, запиравший дверь изнутри: в то время это был единственный запор во всех почти жилищах нашей деревни. Толпа с женихом ворвалась в дом невесты, но не без боя, так как парни, прежде здесь расположившиеся, и даже сам старик-коноплянщик и старые кумушки взяли на себя обязанность охранять очаг. Парень с вертелом, поддерживаемый своими, должен был положить жаркое на огонь. Это было настоящее сражение, хотя и воздерживались от ударов, и не было никакой злобы в этой борьбе. Но толкались и давили друг друга так сильно, и столько было замешано самолюбия в этом испытании своей мускульной силы, что последствия могли быть более серьезными, чем это казалось среди смеха и пения. Бедный старый коноплянщик, который отбивался, как лев, был прижат к стене, и толпа его так сдавила, что он почти задохнулся. Не одного свалившегося борца потоптали нечаянно ногами, не одна рука, ухватившаяся за вертел, была разбита в кровь. Такие игры опасны, и за последнее время некоторые несчастные случаи были столь серьезны, что наши крестьяне решили вывести из употребления обряд свадебных подарков. Я думаю, что мы его видели в последний раз на свадьбе Франсуазы Мейлан, да и то борьба была только притворной.

Эта борьба была еще довольно жаркой на свадьбе Жермена. Было вопросом чести, с той и с другой стороны, захватить или защитить очаг Гилеты. Огромный железный вертел вертелся, как винт, в сильных кулаках, которые его друг у друга отбивали. От пистолетного выстрела загорелся небольшой запас конопли в кудели, которая висела на решетке у потолка. Это новое развлечение отвлекло внимание, и, в то время как одни торопились потушить этот зачаток пожара, могильщик, который влез, никем незамеченный, на чердак, спустился оттуда по трубе и схватил вертел в ту минуту, как волопас, защищавший его у очага, поднял вертел над своей головой, чтобы его у него не вырвали. За некоторое время до приступа матроны позаботились потушить огонь, из боязни, чтобы, отбиваясь, кто-нибудь в него не попал и не обжегся. Шутник-могильщик, сговорившись с волопасом, овладел без труда трофеем и бросил его на большой таган. Дело было кончено. Больше никто не смел до него прикоснуться. Он спрыгнул в комнату и поджег остатки соломы на вертеле, чтобы дать видимость жарения гуся, который, на самом деле, был весь разорван на куски, и пол был усеян его останками.

После этого было много смеха и хвастливых споров. Каждый показывал следы полученных тумачков и, так как часто они были нанесены рукою друга, никто не жаловался и не сердился. Коноплянщик, наполовину раздавленный, потирал себе поясницу и говорил, что она мало его беспокоит, но что он протестует против хитрости своего кума-могильщика, и что, если бы он не был наполовину мертв, никак не удалось бы так легко захватить очаг. Матроны подметали пол, и порядок восстанавливался. Стол покрывался жбанами нового вина. Когда все вместе выпили и немного передохнули, жениха, вооруженного палочкой, вывели на середину комнаты, и он должен был подвергнуться новому испытанию.

Во время сражения мать, крестная мать и тетки спрятали невесту и трех из ее подруг, они усадили этих четырех девушек на скамью в отдаленном углу комнаты и покрыли их большой простыней. Трех этих подруг выбрали одного роста с Мари, и чепцы их были одинаковой высоты, а когда простыня закрыла их головы и закутала их ноги, то их невозможно было отличить одну от другой.

Жених мог их коснуться только концом своей палочки и лишь для того, чтобы указать ту, которую он считал своею женой. Ему давали время хорошенько их распознать, но только глазами, и матроны, стоявшие рядом с ним, строго следили, чтобы не было какого-нибудь плутовства. А если жених ошибался, то не мог целый вечер танцевать со своею невестой, а должен был танцевать только с той девушкой, которую выбрал по недоразумению.

Когда Жермен очутился перед этими призраками, завернутыми в один и тот же саван, он очень боялся ошибиться; и действительно, это случалось со многими другими, так как все предосторожности очень тщательно бывали всегда предусмотрены. Сердце его билось. Маленькая Мари пробовала, конечно, громко дышать и немного шевелить простыню, но ее хитрые соперницы делали то же самое, и было столько же таинственных знаков, сколько было девушек под покрывалом. Квадратные чепцы поддерживали это покрывало так ровно, что было невозможно различить форму лба, обрисовывавшегося под его складками.

Жермен, после десятиминутного колебания, закрыл глаза и, вручив свою душу богу, протянул палочку наудачу. Он дотронулся до лба маленькой Мари, которая с торжествующим криком отбросила от себя простыню. Тогда он получил разрешение ее поцеловать и, подняв ее своими сильными руками, вынес ее на середину комнаты и открыл с нею бал, который продолжался до двух часов утра.

После того все разошлись, чтобы вновь собраться в восемь часов. Так как некоторая часть молодежи пришла из окрестностей, и не было для всех постелей, то каждая приглашенная из этой деревни приняла к себе в постель двух или трех юных приятельниц, тогда как парни отправились вытянуться, как попало, на хуторском сеновале. Вы можете себе представить, что они там совсем не спали, а только и думали, как бы им повозиться, подшутить друг над другом, и рассказывали всякие глупые истории. На свадьбах совершенно необходимы три бессонные ночи, о которых никто не жалеет.

В назначенный для отъезда час, после того как поели молочного супа, сильно приправленного для возбуждения аппетита перцем, так как свадебный обед обещал быть обильным, все собрались на дворе хутора. Наш приход был упразднен, и только за полмили от нас можно было совершить свадебный обряд. Была чудесная свежая погода, но дорога была очень испорчена, и потому все запаслись лошадьми, и каждый мужчина должен был взять к себе на лошадь молодую или старую спутницу. Жермен поехал на *Серке*, которая была хорошо вычищена, заново подкована и разукрашена лентами; она била ногою землю и пускала огонь из ноздрей. Он отправился за своей невестой в ее хижину вместе со своим шурином Жаком, ехавшим на старой *Серке* и взявшим к себе на лошадь добрую тетушку Гилету, тогда как Жермен с торжествующим видом привез с собою на двор свою маленькую дорогую женку.

Затем веселая кавалькада пустилась в путь, сопровождаемая бегущими детьми, которые стреляли из пистолетов и пугали выстрелами лошадей. Тетушка Морис села в маленькую тележку вместе с тремя детьми Жермена и гудошниками. Они открывали шествие под звуки инструментов. Малютка-Пьер был так хорош, что бабушка была вся преисполнена гордости. Но живой ребенок не мог долго усидеть рядом с ней. На одной остановке, которую нужно было сделать на полпути, перед тем как пуститься в трудный переход, он улизнул и побежал умолять отца, чтобы тот посадил его перед собою на *Серку*.

— Ну, нет, — ответил Жермен, — это навлечет на нас дурные шутки! Не нужно этого.

— Меня несколько не беспокоит, что будут о нас говорить жители Сен-Шартье, — сказала маленькая Мари. — Возьмите его, Жермен, прошу вас: я буду им гордиться еще больше, чем своим свадебным убором.

Жермен уступил, и *Серка*, в торжественном галопе, вынесла это прекрасное трио в

общие ряды поезжан.

И, действительно, жители Сен-Шартье, хотя и были они большими насмешниками и даже немного задирами по отношению к окрестным приходам, присоединенным к ним, и не подумали, однако, смеяться, увидав такого красивого новобрачного, такую хорошенькую новобрачную и ребенка, которого не отказалась бы иметь и жена короля. У Малютки-Пьера был полный костюм из сине-василькового сукна и такой кокетливый, коротенький красный жилет, что он спускался лишь немного ниже подбородка. Деревенский портной так сильно вырезал ему проймы, что он не мог соединить вместе своих маленьких ручонков. И как же он был горд! У него была круглая шляпа с черным с золотом шнуром и павлиньим пером, которое лихо торчало из пучка перьев цесарки. Букет цветов, больше его головы, покрывал ему плечо, а ленты развевались до самых его ног. Коноплянщик, который был также и цырюльником, и местным парикмахером, подстриг ему волосы в кружок, закрыв голову миской и состригая все, что оттуда выглядывало: непогрешимый способ для верной работы ножниц. Разряженный таким образом, бедный ребенок был безусловно менее поэтичен, чем с длинными, развевающимися волосами и со своей бараньего шкурой наподобие Иоанна Крестителя; но он этого не думал, и все любовались им, говоря, что он имеет вид маленького мужчины. Его красота торжествовала над всем, и над чем действительно не восторгается несравненная красота детства!

Его маленькая сестра Соланж надела в первый раз в жизни высокий чепец взамен ситцевого чепчика, который носят обыкновенно маленькие девочки до двух или трех лет. И какой еще чепец! — более высокий и более широкий, чем все туловище бедняжки. И какой же красивой она себя считала! Она не смела повернуть головы и стояла, совершенно не сгибаясь, воображая, что ее примут за невесту.

Что касается маленького Сильвэна, он был еще в длинном платьице, и, заснув на коленях своей бабушки, он и не подозревал, что такое свадьба.

Жермен смотрел на своих детей с любовью, и, прибыв к мэрии, он сказал своей невесте:

— Знаешь, Мари, я приехал сюда немного более довольный, чем тогда, когда привез тебя домой из Шантелубских лесов, думая, что ты меня никогда не полюбишь; как и теперь, я взял тебя тогда на руки, чтобы поставить на землю; но я думал, что мы никогда больше не очутимся вместе на бедной, доброй *Серке* и с этим ребенком на коленях. Знаешь, я так люблю тебя, так люблю этих бедных малюток, я так счастлив, что ты меня любишь и любишь их, и что мои родители тебя любят, и так люблю твою мать и моих друзей, и сегодня всех людей, что мне хотелось бы иметь для этого три или четыре сердца. Правда, чересчур мало одного, чтобы уместить в нем столько привязанностей и столько радостей! У меня от этого будто болит живот.

В дверях мэрии и церкви стояла толпа, чтобы посмотреть на хорошенькую молодую. Почему не рассказать нам об ее наряде? Он так хорошо к ней шел! Ее кисейный высокий светлый чепец был весь вышит и имел лопасти, отделанные кружевом. В те времена крестьянки не позволяли себе показывать ни единого волоска; хотя под чепцами их и скрывались великолепные волосы, закрученные в белые тесемки для поддержания убора, еще сейчас считалось бы неприличным и постыдным показаться мужчинам с непокрытой головой. Однако теперь они позволяют себе оставлять на лбу небольшую прядь волос, которая им очень идет. Но я жалею о классической прическе моего времени: эти белые кружева прямо на коже носили характер античной чистоты, который казался мне более торжественным, и когда лицо, несмотря на это, было красиво, это была красота, прелесть и наивное величие которой ничто не может выразить.

Маленькая Мари носила еще именно такую прическу, и ее лоб был так бел и чист, что

белизна кружев не могла его затемнить. Хотя она и не сомкнула глаз во всю ночь, утренний воздух и особенно внутренняя радость ясной, как небо, души, а также немного скрытого огня, сдерживаемого стыдливостью юности, давали ее щекам нежный блеск персикового цветка при первых апрельских лучах.

Ее белая косынка целомудренно скрещивалась на груди, и видны были только нежные контуры шеи, закругленной, как шея голубки; ее платье из темнозеленого сукна обрисовывало ее небольшую фигурку, которая казалась совершенной, но должна была еще вырасти и развиваться, так как ей не было и семнадцати лет. На ней был передник из темнофиолетового шелка с нагрудником, который наши крестьянки, к сожалению, упразднили; он придавал столько изящества и скромности груди. Теперь они с большой горделивостью выставляют свои косынки, но в их наряде нет уже прелести античного целомудрия, делавшего их похожими на девственниц Гольбейна. Они более кокетливы, более грациозны. Раньше приличие требовало своего рода строгой угловатости, и это делало их редкую улыбку более проникновенной и идеальной.

Во время обряда Жермен, согласно обычаю, положил тридцать серебряных монет в руку своей невесты. Он надел ей на палец серебряное кольцо, неизменной в течение многих веков формы, но замененное теперь золотым обручальным кольцом. По выходе из церкви Мари сказала ему очень тихо:

— Это то самое кольцо, которое я хотела? То, о котором я вас просила, Жермен?

— Да, — ответил он, — то самое, которое было на пальце у моей Катерины, когда она умирала. Это одно и то же кольцо — и тогда, и теперь.

— Благодарю вас, Жермен, — сказала молодая женщина серьезным и проникновенным тоном, — я умру с ним, и если это будет раньше вас, вы сохраните его для вашей маленькой Соланж.

XXI

КОЧАН КАПУСТЫ

Опять сели на лошадей и очень скоро приехали обратно в Белэр. Обед был великолепен и продолжался, вперемежку с пением и танцами, до полуночи. Старики не выходили из-за стола в продолжение четырнадцати часов. Могильщик стряпал и делал это отменно хорошо. Он этим славился и отходил от своей плиты только затем, чтобы поплясать и попеть между каждыми двумя переменами кушаний. И однако же он страдал падучей, этот бедный старик Бонтан! Кто бы мог это подумать! Он был свеж, силен и весел, как молодой человек. Однажды мы нашли его, как мертвого, в канаве; его схватил припадок, когда уже стало темнеть. Мы привезли его к себе на тачке и всю ночь ухаживали за ним. Через три дня он был уже на свадьбе, распевал, как дрозд, и прыгал, как козленок, подергиваясь по старинной моде. Часто, уходя со свадьбы ему приходилось итти копать могилу или сколачивать гроб. Он исполнял это с благоговением, и хотя внешне это не отражалось на его хорошем настроении, но производило на него всегда тяжелое впечатление и ускоряло появление у него припадка. Его жена была в параличе и не двигалась со своего стула уже двадцать лет. Матери его сто сорок лет, и она еще жива. А он, бедняга, такой веселый, такой добрый и забавный, он убился в прошлом году, упав со своего чердака на мостовую. Вероятно, его схватил роковой приступ его болезни, и, как обычно, он спрятался в сено, чтобы не испугать и не огорчить своей семьи. Так трагически он закончил свою жизнь, столь же странную, как и он сам, смесь плачевного и шутливого, ужасного и веселого, среди чего сердце его всегда оставалось добрым, а его характер приятным.

Но мы подходим к третьему дню свадьбы, а он самый любопытный и сохранился во всей своей строгости до наших дней. Мы не будем говорить о гренке, который несут к брачной постели; это довольно глупый обычай, заставляющий страдать стыдливость новобрачной и способный нарушить ее у молодых девушек, которые при этом присутствуют. К тому же, я думаю, что этот обычай один и тот же во всех провинциях и не имеет у нас ничего исключительного.

Так же, как церемония свадебных подарков является символом захвата в обладание сердца и дома невесты, церемония капусты является символом плодородия в браке. После завтрака на другой день свадьбы начинается это своеобразное представление галльского происхождения, прошедшее, однако, через первоначальное христианство и ставшее мало-помалу своего рода *мистерией* или шутливым *моралите* средних веков.

Двое из парней (самые забавные и самые проворные из молодежи) исчезают во время завтрака, идут наряжаться и, наконец, возвращаются, сопровождаемые музыкой, собаками, детьми и выстрелами из пистолета. Они изображают пару бедняков, мужа и жену, в самых убогих лохмотьях; муж еще грязнее жены; это порок заставил его так низко пасть; жена просто несчастна и унижена распутством своего мужа.

Они именуют себя *садовником* и *садовницей* и говорят, что они приставлены охранять священный кочан капусты и ухаживать за ним. Но муж носит различные названия, которые все имеют смысл. Его называют также *тряпичником*, потому что на нем парик из соломы или конопли, и для того, чтобы скрыть свою наготу, плохо прикрытую тряпьем, он обвязывает свои ноги и часть туловища соломой. Он также делает себе большой живот или горб из соломы или сена, спрятанного под блузой. *Тряпичник* он потому, что он покрыт тряпьем. Наконец, называют его еще и *язычником*, что еще более выразительно, так как своим

цинизмом и развратом он призван быть антиподом всех христианских добродетелей.

Он приходит с лицом, вымазанным сажей и винными выжимками, иногда наряженный в смешную маску. Скверная, выщербленная глиняная чашка или старое сабо висит на веревке у его пояса и служит ему для того, чтобы собирать милостыню вином. Никто ему в этом не отказывает, и он притворяется, что пьет, а затем выливает вино на землю в знак возлияния. На каждом шагу он падает, валяется в грязи и показывает, будто находится в самом постыдном опьянении. Его бедная жена бежит за ним, поднимает его, зовет на помощь, вырывает себе волосы из конопли, которые взъерошенными космами вылезают из ее отвратительного черепа, плачет над гнусностью своего мужа и делает ему патетические упреки.

— Несчастный! — говорит она ему, — смотри, до чего нас довело твое дурное поведение! Сколько я ни пряду, сколько ни работаю для тебя, сколько ни чиню твоего платья, ты все рвешь и мараешь без конца. Ты промотал мое бедное имущество, наши шестеро детей на соломе, мы живем в хлеву вместе со скотом; и мы дошли до того, что должны просить милостыню, а ты еще так безобразен, так противен, так презираем, что скоро нам будут бросать хлеб, как собакам. Увы, бедные люди, сжальтесь над нами! сжальтесь надо мной! Я не заслужила своей участи, и никогда еще ни у какой жены не было мужа, более грязного и более отвратительного. Помогите мне его поднять, иначе его раздавят, как старый осколок бутылки, и я буду вдовой, что окончательно заставит меня умереть от горя, хотя весь свет говорил бы, пожалуй, что это было бы для меня большим счастьем.

Такова роль садовницы и ее постоянные жалобы в продолжение всей пьесы. Это настоящая свободная комедия, импровизируемая и разыгрываемая на свежем воздухе, на дорогах, среди полей, поддерживаемая всякими случайными происшествиями, и в которой все принимают участие — и приглашенные на свадьбу, и посторонние, домохозяева и прохожие по дорогам, и так три или четыре часа в течение дня, как это сейчас будет видно. Тема неизменна, но по этой теме бесконечно вышивают, и тут можно видеть мимический инстинкт, обилие забавных мыслей, говорливость, находчивость ответов и даже естественное красноречие наших крестьян.

Роль садовницы обычно поручается тонкому, безбородому мужчине, со свежим цветом лица, способному придать много искренности изображаемому персонажу и разыграть шуточное отчаяние настолько естественно, чтобы одновременно развеселить и опечалить, как если бы все это было по-настоящему. Такие худые и безбородые мужчины довольно часто попадают в наших деревнях, и, как это ни странно, они нередко выделяются своей физической силой.

После того, как несчастная доля жены установлена, молодые люди из приглашенных на свадьбу предлагают ей оставить своего пьяницу-мужа и пойти развлечься с ними. Они подают ей руку и увлекают ее с собой. Мало-по-малу она поддается им, становится веселой и начинает бегать то с тем, то с другим, принимая беспутную повадку. В этом заключается новое нравоучение: плохое поведение мужа вызывает такое же и со стороны жены.

Язычник просыпается от своего опьянения, ищет глазами свою подругу, вооружается палкой и веревкою и бежит за ней. Его заставляют бегать, прячутся, передают жену от одного к другому, стараются его отвлечь и обмануть ревнивца. Его друзья пытаются его напоить. Наконец, он настигает свою неверную жену и собирается ее побить. Наиболее близко к действительности и хорошо подмечено в этой пародии семейных бедствий то, что ревнивец не нападает на тех, кто отнимает у него жену. Он очень вежлив и осторожен с ними и хочет посчитаться только с виновной, потому что ей полагается не противиться ему.

Но в ту минуту, когда он поднимает палку и приготовляет веревку, чтобы привязать преступницу, все приглашенные мужчины вступаются за нее и бросаются между обоими

супругами. «*Не бейте ее: — не бейте никогда вашей жены!*» — вот формула, которая повторяется с избытком в этих сценах. Мужа обезоруживают, заставляют его простить и поцеловать свою жену, и вскоре он делает вид, что любит ее как никогда. Он уходит под ручку с ней, напевая и танцуя до той минуты, пока новый приступ пьянства снова не валит его на землю; и тогда начинаются опять жалобы жены, ее отчаяние и притворное распутство, ревность мужа, вмешательство соседей и примирение. Во всем этом есть поучение наивное, даже грубое, сильно отдающее средними веками, но оно всегда производит впечатление, если не на новобрачных, чересчур влюбленных или слишком разумных в наши дни, чтобы нуждаться в нем, то по крайней мере на детей и юношество. Язычник так пугает и вызывает такое отвращение в молодых девушках, когда он бежит за ними и делает вид, что хочет их поцеловать, что они убегают от него с неподдельным волнением. Его вымазанное лицо и большая палка (безобидная однако) вызывают громкий крик у ребят. Это комедия нравов в самом первобытном своем виде, но и в наиболее потрясающем.

Когда этот фарс хорошо разыгран, начинают приготовляться, чтобы идти за кочаном капусты. Приносят носилки, на которые сажают язычника, вооруженного лопатой, веревкой и большой корзиной. Четыре сильных мужчины берут их на плечи. Жена язычника следует за ним пешком, *старцы* идут группой, задумчивые и степенные; за ними идет вся свадьба, выступая парами под звуки музыки. Выстрелы из пистолетов возобновляются, собаки воют более, чем когда бы то ни было, при виде этого отвратительного язычника, которого несут с такою торжественностью. Дети насмешливо кадят около него деревянными башмаками, привязанными на веревочку.

Но почему эта овация такой отталкивающей личности? Идут на завоевание священного кочана, эмблемы брачного плодородия, и только этот оскотинившийся пьяница один может поднять руку на символическое растение. Вероятно, тут есть таинство, предшествовавшее христианству, которое напоминает праздник Сатурналий или какие-нибудь древние вакханалии. Может быть, этот язычник, который в то же время по преимуществу садовник, есть не кто иной, как Приап, бог садов и разврата, божество, которое при своем возникновении должно было быть целомудренным и серьезным, как само таинство размножения, но которого мало-по-малу привели в унижительное состояние распущенность нравов и заблуждение умов.

Как бы то ни было, триумфальное шествие прибыло к дому новобрачной и проникло в ее сад. Там выбирается самый прекрасный кочан, но это не делается скоро, так как *старцы* держат совет и много без толку спорят, каждый защищая тот кочан, который кажется ему наиболее подходящим. Собирают голоса, и когда выбор намечен, *садовник* обвязывает своей веревкой кочан у кочерыжки и отходит так далеко, как позволяет ему размер сада. Садовница следит за тем, чтобы при падении священный кочан не был испорчен. *Шутники* свадьбы — коноплянщик и могильщик, плотник или башмачник (все те люди, которые не работают на земле и, проводя жизнь в чужих домах, славятся тем, что имеют больше ума и меньше болтать, чем простые земледельцы, и это действительно так) выстраиваются вокруг кочана. Один из них вырывает лопатой ров, будто они собираются срубить дуб. Другой надевает себе на нос какую-нибудь штучку из дерева или из картона, которая должна изображать очки: он исполняет обязанности *инженера*, приближается, удаляется, снимает план, смотрит искоса на работающих, выводит линии, разыгрывает педанта, восклицает, что всё сейчас испортят, заставляя оставлять работу и вновь за нее браться — по своей фантазии, и как можно дольше, как можно смешнее управляет работой. Не есть ли это добавление к порядку древней церемонии, которое выливается, как насмешка над теоретиками вообще, чрезвычайно презираемыми крестьянином, приверженцем обычая, или как ненависть к

землемерам, которые утверждают росписи земельной собственности и раскладывают налоги, или как такая же ненависть к служащим ведомства путей сообщения, превращающим общинные земли в дороги и отменяющим старые злоупотребления, любезные сердцу крестьянина? Как бы то ни было, эта фигура в комедии называется *геометром* и делает все возможное, чтобы быть невыносимой для тех, кто держит кирку и лопату.

Наконец, после четверти часа затруднений и всяческих смешных кривляний, чтобы не поломать корня у кочана и вытащить его целиком, язычник — в то время, как комья земли летят в нос присутствующим (тем хуже для того, кто не отстраняется от лопат достаточно быстро: будь он епископ или князь, ему все равно нужно получить крещение землею) — язычник дергает веревку, язычница протягивает свой передник, и кочан торжественно падает при приветственных криках зрителей. Тогда приносят корзинку, и языческая чета сажает туда кочан со всяческими предосторожностями и хлопотами. Его обкладывают свежей землей, поддерживают прутиками и завязочками, как делают это городские цветочницы для их великолепных камелий в горшках; на концы прутиков втыкают красные яблоки, окружают его ветками тимьяна, шалфея и лавра, все это покрывают лентами и тесемками, ставят этот трофей на носилки вместе с язычником, который должен поддерживать его в равновесии и предохранять от случайностей, и, наконец, все выходит из сада в большом порядке и шагая под марш.

Но тут, когда нужно выходить за ворота, так же, как и тогда, когда нужно войти во двор жениха, воображаемое препятствие загораживает проход. Носильщики спотыкаются, выпускают громкие восклицания, идут опять вперед и, как бы отталкиваемые невидимой силой, делают вид, будто падают под своей ношей. В это время все присутствующие кричат, возбуждают и успокаивают человеческую упряжку. «Хорошенько, хорошенько, дитя! Так, так, бодрее! Осторожнее! Терпение! Нагнитесь, ворота слишком низки! Потеснитесь, они слишком узки! Немного налево, направо теперь! Ну, смелее, вот и готово!»

Так в годы обильного урожая воз, запряженный быками, сверх меры перегруженный сеном или снопами, бывает или чересчур широк, или чересчур высок, чтобы пройти в ворота риги. Так покрикивают на этих сильных животных, чтобы их возбудить или успокоить; и так, благодаря ловкости и могучим усилиям, помогают проехать этой горе богатств, не обрушив ее под сельской триумфальной аркой. Особенно последний воз — *сноповик* — требует этих предосторожностей, так как это одновременно становится и сельским праздником; последний сноп, снятый с последней полосы, кладут на самую верхушку воза, украсив его лентами и цветами так же, как и лбы быков, и палку погонщика. И так, торжественное и трудное вступление кочана в дом является подобием благоденствия и плодородия, которое он собою изображает.

Когда кочан привезен во двор новобрачного, его снимают и несут на самую высокую точку дома или риги. Если труба или конек, или голубятня выше всего другого, нужно обязательно отнести эту ношу на самую высокую точку жилища. Язычник сам сопровождает туда кочан, укрепляет его и поливает из большого жбана вином, в то время как залп из пистолетов и радостные кривляния язычницы знаменуют его водружение.

Та же самая церемония тотчас же начинается снова. Идут вырывать другой кочан в саду жениха, чтобы перенести его тем же порядком на кровлю, из-под которой жена его вышла, чтобы следовать за ним. Эти трофеи остаются в таком виде до тех пор, пока ветер и дождь не разрушат корзинки и не унесут капусту. Но кочаны эти живут достаточно долго, чтобы оправдать предсказание, которое делают старцы и матроны, поклоняясь ему. «Прекрасный кочан, — говорят они, — живи и процветай, чтобы наша молодая новобрачная имела до конца года красивого маленького ребенка; если ты умрешь чересчур быстро, это будет

знаком бесплодия, и ты будешь там, наверху, как дурное предзнаменование».

Когда все эти обряды заканчиваются, день уже подходит к концу. Остается только проводить крестных родителей новобрачных. Если они живут далеко, их провожают всю свадьбой с музыкой до границы прихода. Там танцуют еще, целуют их и расстаются с ними. Язычник и его жена теперь уже вымыты и снова чисто одеты, если только утомление от выполненной ими роли не заставило их пойти спать.

Продолжали плясать, петь и есть на хуторе в Белэре в этот третий день свадьбы, когда женился Жермен, до самой полуночи. Старики, сидя за столом, не могли уйти, и на это были свои причины. Они обрели способность двигать ногами и разумно мыслить лишь на другой день на рассвете. В то самое время, как они в молчании направлялись домой, изредка пошатываясь, Жермен, гордый и проворный, вышел уже, чтобы связать волов, оставив спать свою юную подругу до восхода солнца. Жаворонок, который пел, поднимаясь к небесам, казался ему его собственным голосом, возносившим благодарность провидению. Иней на опустевших кустах казался ему белизною апрельских цветов, предшествующих появлению листьев. Все было радостно и ясно для него в природе. Малютка-Пьер так много смеялся и прыгал накануне, что не пришел ему помогать вести волов; но Жермен был рад остаться один. Он встал на колени на борозду, которую он должен был перепахивать, и совершил свою утреннюю молитву с таким жаром, что две слезы скатились у него по щекам, еще влажным от пота.

Издали слышно было пение парней из соседних приходов; они возвращались к себе и повторяли, немного охрипшими голосами, веселые напевы, которые пелись накануне.



notes

Примечания

Это дорога, которая отходит от главной улицы в начале деревни и идет вдоль нее, задами. Предполагают, что люди, боящиеся получить заслуженное ими оскорбление, идут по ней, чтобы их не видали.

Рыли — струнный инструмент, с которым у нас ходят нищие и слепцы. *Прим. перев.*

Так назывались шайки разбойников во время революции; они грели (chauffer) и жгли ноги своих жертв, чтобы заставить их признаться, где ими спрятаны деньги. *Прим. перев.*